

СОВРЕМЕННАЯ И КЛАССИКА

Джон
Ирвинг

ОТЕЛЬ
«НЬЮ-ГЭМПШИР»

«ИНОСТРАНКА»



18+

Иностранная литература. Современная классика

Джон Ирвинг

Отель «Нью-Гэмпшир»

«Азбука-Аттикус»

1981

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Ирвинг Д.

Отель «Нью-Гэмпшир» / Д. Ирвинг — «Азбука-Аттикус»,
1981 — (Иностранная литература. Современная классика)

ISBN 978-5-389-15533-6

Трагикомическая сага от знаменитого автора «Мира глазами Гарпа» и «Молитвы об Оуэне Мине», «Правил виноделов» и «Сына цирка», широкомасштабный бурлеск, сходный по размаху с «Бойней номер пять» Курта Воннегута или «Уловкой-22» Джозефа Хеллера. Если вы любите семейные саги, если умеете воспринимать чужую боль как свою, если способны «стать одержимым и не растерять одержимости», семья Берри станет для вас родной. Итак, на летней работе в курортном отеле «Арбутнот-что-на-море» встречаются мальчик и девочка. Это для них последнее лето детства: мальчик копит деньги на учебу в Гарварде, девочка собирается на секретарские курсы. Но все меняется с прибытием затейника по имени Фрейд на мотоцикле, в коляске которого сидит медведь по кличке Штат Мэн... Культовую экранизацию культового романа снял Тони Ричардсон (дважды «оскаровский» лауреат, лауреат каннской «Золотой пальмовой ветви»), главные роли исполнили Бо Бриджес, Джоди Фостер, Настасья Кински, Роб Лоу.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-15533-6

© Ирвинг Д., 1981
© Азбука-Аттикус, 1981

Содержание

Глава 1	8
Глава 2	39
Глава 3	55
Глава 4	75
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Джон Ирвинг

Отель «Нью-Гэмпшир»

Моей жене Шейле, чья любовь обеспечила свет и простор для пяти романов

John Irving THE HOTEL NEW HAMPSHIRE

Copyright © 1981 by Garp Enterprises, Ltd.

Перевод с английского Сергея Буренина под редакцией Александра Гузмана, Валерия Шубинского

© С. Буренин (наследник), перевод, 2018

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"», 2018

Издательство Иностранка®

* * *

Поразительно оригинальная семейная сага, искусно сочетающая черный юмор с диккенсовской глубиной чувств и богатством языковой палитры.

Times

Американец Джон Ирвинг обладает удивительной способностью изъясняться притчами: любая его книга совсем не о том, о чем кажется.

Эксперт

Говорят, что понять «Отель „Нью-Гэмпшир"» может любой ребенок – к неудовольствию профессиональных критиков. Говорят, что это не роман, а притча, едва ли способная удовлетворить низменные аппетиты, взыскующие кондового реализма, и что три отеля – в Нью-Гэмпшире, Вене и на мэнском побережье – символизируют детство, юность и зрелость. Говорят, что на мистера Ирвинга повлияли все подряд, от Доницетти до Тургенева и Фрейда. И конечно, там есть изнасилование. Какой же роман Джона Ирвинга без изнасилования, медведя, Вены и бодибилдинга? «Отель „Нью-Гэмпшир"» предлагает вам два изнасилования, двух медведей и даже двух Фрейдов...

New York Times

Читатели любят длинные романы с интересным сюжетом и интригующими персонажами. Я всегда считал идеальной моделью роман XIX века, а большинство из них длинные. Для меня главное в романе – это возможность уловить движение времени. Настоящие читатели не ленивы. И поэтому до сих пор мы пишем длинные книги. Умберто Эко, Гюнтер Грасс, Салман Рушди, я. И люди их читают.

Джон Ирвинг

* * *

Я глубоко обязан следующим работам и хотел бы выразить признательность их авторам: «Вена рубежа веков» Карла Э. Шорске; «Нервная пышность» Фредерика Мортонa; «Вена вдоль и поперек» Дж. Сиднея Джонса; «Вена» Дэвида Прайса-Джонса; «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти (либретто в переводе и с предисловием Эллен Г. Блейлер); «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда.

Особая благодарность – Дональду Джастису. Особая благодарность – и мое искреннее расположение – Лесли Клер и Кризисному центру по изнасилованиям округа Сонома (Санта-Роза, Калифорния).

18 июля 1980 года отель «Стэнхоуп» на углу Восемьдесят первой улицы и Пятой авеню сменил владельцев и руководство и стал называться «Американский Стэнхоуп». Этому достойному заведению не присущи те проблемы, что одолевали мой вымышленный «Стэнхоуп».

Глава 1

Медведь по имени Штат Мэн

В то лето, когда мой отец купил медведя, никто из нас еще не родился, о нас еще ни слуху ни духу не было: ни о Фрэнке – старшем, ни о Фрэнни – самой бойкой, ни обо мне – следующем по счету, ни о самых младших, Лилли и Эгге. Мои мать и отец были местными ребятами и знали друг друга всю жизнь, но в то время, когда отец купил эту зверюгу, их «союз», как выражался Фрэнк, еще не существовал.

– Их «союз», Фрэнк? – обычно подшучивала над ним Фрэнни; хоть Фрэнк и был самым старшим из нас, он казался мне моложе, чем Фрэнни, а сама Фрэнни всегда относилась к нему как к младенцу. – Ты имеешь в виду, Фрэнк, – говорила Фрэнни, – что они еще не трахались.

– Они не оформили свои отношения, – сказала однажды Лилли.

Хотя она была младше всех нас, если не считать Эгга, Лилли вела себя так, словно она для всех нас была старшей сестрой; Фрэнни просто воротило от этих ее повадок.

– «Оформили»? – переспрашивала Фрэнни. (Я не помню, сколько лет тогда было Фрэнни, но Эгг определенно еще не дорос до того, чтобы слушать такие вот разговоры.) – Мама и папа просто не думали о сексе, пока старик не купил этого медведя, – заявляла Фрэнни. – Медведь подал им эту идею: он был такой грубый и неотесанный, ломал деревья и лизал себе все что ни попадя и драл собак почему зря.

– Драть-то он их драл, – с отвращением говорил Фрэнк, – только в самом прямом смысле.

– В том смысле тоже, – не отступала Фрэнни. – Сам знаешь эту историю.

– Это *папина* история, – скажет тогда Лилли тоже с отвращением, но слегка другим отвращением, так как отвращение Фрэнни было направлено на Фрэнка, а отвращение Лилли – на отца.

Так что пришлось мне, среднему и наименее предвзятому ребенку, записать все как было или почти как было. Любимой историей в нашей семье была история о романе между отцом и матерью, о том, как папа купил медведя, как они с мамой полюбили друг друга и быстренько, одного за другим, заделали Фрэнка, Фрэнни и меня («Бац, бац, бац», – как сказала бы Фрэнни), а после небольшой передышки – Лилли и Эгга («Пиф-паф – и мимо», – скажет Фрэнни). История, которую нам рассказывали в детстве и которую мы пересказывали друг другу, когда выросли, сосредоточивалась на тех годах, о которых мы ничего не знали и которые представляли себе только по многочисленным версиям родительских рассказов. Похоже, я представляю своих родителей в те годы намного лучше, чем в то время, которое помню сам, потому что уже при мне жизнь их поворачивалась то так, то этак, – и я сам то так, то этак к происходящему относился. Что касается знаменитого медвежьего лета и той ворожбы, что свела отца с матерью, то я могу позволить себе свою, более стройную версию.

Когда отец начинал сбиваться, рассказывая нам эту историю, или когда она начинала противоречить предыдущей версии, или когда он начинал выбрасывать самые любимые нами эпизоды, мы кричали, как растревоженные галчата.

– Или ты врешь нам сейчас, или в прошлый раз врал, – говорила Фрэнни (всегда самая строгая из нас), а отец при этом невинно качал головой.

– Вы что, не понимаете? – спрашивал он нас. – Вы же сами представляете себе эту историю лучше, чем я помню.

– Иди позови мать, – говорила Фрэнни, сталкивая меня с койки.

Или Фрэнк снимал Лилли с коленей и шептал ей на ухо:

– Иди позови мать.

И наша мать призывалась как свидетельница истории, которая, по нашим подозрениям, была несколько фальсифицирована.

– Или ты просто выбрасываешь самые смачные эпизоды, – обвинял его Фрэнк, – думаешь, что Лилли и Эгг слишком малы, чтобы слышать о том, как вы себе трахались.

– Вовсе мы не трахались, – говорила обычно мать. – Тогда такой распушенности и свободы, как сейчас, не водилось. Коли проведет девушка с кем-то ночь или выходные – даже лучшие подруги считают ее потаскушкой, а то и хуже. На такую девушку после этого и внимания-то особого не обращали. «Рыбак – рыбака...» – обычно говорили мы. Или: «По Сеньке и шапка».

И Фрэнни, было ли ей восемь, или десять, или пятнадцать, или двадцать пять, всегда при этом закатывала глаза и пихала меня локтем или просто щекотала меня, но, когда я щекотал ее в ответ, она кричала:

– Урод! Не тискай собственную сестру!

И было ли ему девять, или одиннадцать, или двадцать один, или сорок один, Фрэнк, который терпеть не мог, когда Фрэнни заводит разговоры о сексе или делает непристойные жесты, говорил:

– Бог с ним. А что насчет мотоцикла?

– Нетушки, давайте еще о сексе, – на полном серьезе говорила матери Лилли, а Фрэнни при этом запикивала пальцы мне в уши или делала пукающий звук губами около моей шеи.

– Ну хорошо, – говорила мать, – о сексе мы в компаниях с мальчиками свободно не говорили. Конечно, и обнимались, и тискались от всей души и легонько, обычно в машинах. Всегда можно было найти укромный уголок, чтобы припарковаться. Тогда проселочных дорог было больше, а людей и машин – меньше, и машины не были компактными, как сейчас.

– Значит, там можно было как следует разлечься, – говорила Фрэнни.

Мать обычно бросала хмурый взгляд в сторону Фрэнни и настаивала на своем видении тех времен. Рассказчиком она была правдивым, но скучным, не в пример отцу, поэтому когда мы призывали ее подтвердить историю, то в конце концов начинали сожалеть об этом.

– Лучше пусть старик заливает дальше, – говорила Фрэнни. – Мама слишком уж серьезна. Фрэнк начинал хмуриться.

– Иди ты в баню, Фрэнк. Там тебе и место, – обычно говорила Фрэнни.

Но Фрэнк только еще больше хмурился. А потом говорил:

– Когда спросишь отца о чем-нибудь конкретном, например о мотоциклах, толку выйдет больше, чем если расспрашивать его о каких-то общих вещах – об одежде, обычаях, сексуальных нравах.

– Фрэнк, расскажи нам, что такое секс, – говорила тогда Фрэнни.

Но всех нас тогда спасал отец, который говорил своим мечтательным голосом:

– Я вот что вам скажу. Сейчас бы этого произойти не могло. Может, вы и думаете, что у вас больше свободы, но у вас и законов больше. Сегодня эта история с медведем просто не могла бы произойти. Вам бы просто не *позволили* этого.

И в это время мы все замолкали, никаких шуток. Когда рассказывал отец, даже Фрэнк и Фрэнни могли сидеть рядышком и не драться, а я мог сидеть так близко к Фрэнни, что чувствовал ее волосы или коленки, но если уж отец что-то рассказывал, то я совершенно забывал о Фрэнни. Лилли сидела абсолютно неподвижно (насколько она это вообще могла) у Фрэнка на коленях. А Эгг был слишком маленький, чтобы слушать, а тем более понимать такие разговоры, но он всегда был спокойным ребенком. Даже Фрэнни могла держать его на коленях, и он бы при этом оставался спокойным, а у меня на коленях он сразу же засыпал.

– Это был черный медведь, – говорил отец. – Он весил четыреста фунтов и был несколько мрачноват.

– *Ursus americanus*, – тихо бормотал Фрэнк. – И совершенно непредсказуем.

– Да, – говорил отец, – но большую часть времени он вел себя вполне прилично.

– Он был слишком стар, чтобы и дальше оставаться медведем, – благоговейно говорила Фрэнни.

Это была фраза, с которой отец обычно начинал свой рассказ, с этой же фразы он начал свой рассказ, когда я впервые его услышал.

«Он был слишком стар, чтобы оставаться медведем».

Я сидел у матери на коленях, и мне на всю жизнь врезались в память тот момент и то место: я на коленях у матери, Фрэнни на коленях у отца рядом со мной, Фрэнк, весь внимание, сидит сам по себе на старом восточном ковре, сложив по-турецки ноги, а рядом с ним наш первый семейный пес Грустец (которого в один прекрасный день усыпили, потому что он ужасно портил воздух).

– Он был слишком стар, чтобы и дальше оставаться медведем, – начинал отец.

Я смотрел на Грустца, милого бесхитростного лабрадора, и он, лежа на полу рядом с Фрэнком, взъерошенный, вонючий, вырастал до размеров медведя, а потом старел, пока не превращался снова в простого пса (хотя Грустец никогда не был «простым псом»).

В тот первый раз я не помню ни Лилли, ни Эгга, они, наверно, были такими младенцами, что еще не присутствовали, в том смысле, что еще не понимали происходящего.

– Он был слишком стар, чтобы и дальше оставаться медведем, – говорил отец. – Он вот-вот должен был уже протянуть ноги.

– Но на чем бы он тогда стоял! – подвывали мы, это был наш ритуальный ответ, который мы знали наизусть, все, и я, и Фрэнк, и Фрэнни; а со временем, когда эта история стала традицией, к нам присоединялись и Лилли, и Эгг.

– Медведь уже не получал удовольствия от выступлений, – говорил отец. – Он просто выполнял заведенную программу. И единственное, кого или что он любил, так это мотоцикл. Поэтому я и купил тот мотоцикл, когда купил медведя. Именно поэтому медведь так просто расстался со своим дрессировщиком и пошел со мной; мотоцикл для этого медведя значил намного больше, чем любой дрессировщик.

Позже Фрэнк подталкивал Лилли, которую научил при этом спрашивать:

– А как звали медведя?

И Фрэнк, и Фрэнни, и отец, и я в один голос кричали:

– Штат Мэн!

Этого безропотного медведя звали Штат Мэн, и мой отец купил его летом 1939 года, вместе с мотоциклом «индиан» 1937 года выпуска, за 200 долларов и лучшую часть своего летнего гардероба.

* * *

Моей матери и отцу было тогда по девятнадцать лет; они родились в 1920-м и выросли в Дейри, штат Нью-Гэмпшир, и, пока росли, они друг на друга даже внимания не обращали. Случилось одно из тех логичных совпадений, на которых основано множество хороших историй: к обоюдному сюрпризу они оба устроились на летнюю работу в «Арбутнот-что-на-море» – курортный отель далеко от их дома, потому что штат Мэн находится далеко от Нью-Гэмпшира (по тем временам и по их понятиям).

Моя мать работала горничной, и, хотя одетая в свое собственное платье, она прислуживала за обедом и помогала подавать коктейли на вечеринках, которые устраивались под тентом на открытом воздухе (их посещали игроки в теннис, гольф и крокет, а также моряки, возвращающиеся с парусных и гребных состязаний). Мой отец помогал на кухне, подносил багаж, разравнивал землю вокруг лунок для гольфа и следил, чтобы белые линии на теннисном корте были свежими и ровными, помогал нетвердо стоящим на ногах господам, которых вообще

нельзя было пускать на борт лодки, выбираться на пристань и с пристани, не получив при этом увечий и не замочившись.

Эту летнюю работу моего отца и матери одобрили их родители, хотя для них обоих это было унижением – встретиться там. Впервые они проводили лето вне Дейри, штат Нью-Гэмпшир, и они, без сомнения, представляли себе роскошный курорт тем местом, где они – ребята нездешние – смогут всем пустить пыль в глаза. Мой отец только что закончил школу в Дейри, частную мужскую академию; осенью ему позволено было держать экзамен в Гарварде. Он знал, что не попадет в Гарвард раньше осени 1941 года, так как поставил себе задачу сперва заработать деньги на свое образование; но летом 1939 года в «Арбутноте-что-на-море» он с удовольствием давал понять гостям, что отправится в Гарвард этой же осенью. Моя мать, будучи там и зная его обстоятельства, заставляла отца говорить правду. Он пойдет в Гарвард, когда заработает столько денег, сколько стоит образование; конечно, это было необходимым условием того, что он вообще будет учиться в Гарварде, а большинство людей в Дейри, штат Нью-Гэмпшир, вообще были бы удивлены, узнав, что он допущен до Гарварда.

Сын футбольного тренера школы Дейри, мой отец Винслоу Берри не совсем подходил под категорию одаренных детей. Он был единственным сыном своего папаши, а его отец, рубаха-парень, которого все звали тренер Боб, был уж совсем не похож на гарвардского выпускника, и никто не думал, что он способен сделать сынишку, который поступит в Гарвард.

Роберт Берри приехал на восток из Айовы после того, как его жена умерла при родах. Боб Берри был несколько староват для одинокого мужчины и молодого отца, ему было тридцать два. Он искал место, где можно дать образование сыну, – а в уплату предлагал самого себя. Он продал свои физические и педагогические способности лучшей из тех начальных школ, которые обещали принять его сына, когда тот достигнет соответствующего возраста. Школа Дейри отнюдь не была прославленной твердыней начального образования.

В свое время она могла бы рассчитывать на статус, равный статусу Эксетера или Андовера, но была основана в самом начале XX века без особых прицелов на будущее. В районе Бостона она набрала несколько сот мальчиков, которых не приняли ни в Эксетер, ни в Андовер, и еще сотню, которых вообще никуда не допустили, и предложила им программу стандартную, но разумную, чего не скажешь о большинстве преподавателей, которые были туда наняты, – большую часть из них тоже откуда-нибудь выперли. Но хоть на фоне прочих начальных школ Новой Англии она и была второсортной, это было намного лучше, чем местные бесплатные школы, и уж всяко лучше единственной полной средней школы в Дейри.

Школа Дейри была именно такой, с которой можно было иметь дело, и она договорилась с тренером Бобом Берри, пообещав ему незначительную зарплату и обучение (бесплатное) для его сына Вина, когда тот достигнет соответствующего возраста. Ни тренер Боб, ни школа Дейри не представляли себе, каким блестящим учеником окажется мой отец Вин Берри. Гарвард принял его среди первоклассных претендентов, но его зачислили в категорию абитуриентов без стипендии. Если бы он окончил что-то лучшее, чем школа Дейри, то мог бы претендовать на стипендию в области греческого или латинского языка; он считал, что способен к языкам, и сперва хотел специализироваться по русскому.

Моя мать (будучи девочкой) не могла посещать школу Дейри и ходила в частную семинарию для девиц, расположенную в том же городе. Это также было второсортное образовательное учреждение, которое все же стояло выше городской средней школы; для родителей, которые не хотели, чтобы их дочери посещали школу вместе с мальчиками, другого выбора не было. В отличие от школы Дейри, где было общежитие – и 95 процентов учеников жили там, – Томпсоновская семинария для девиц была всего лишь частной дневной школой. Родители моей матери, бывшие по некоторым причинам даже старше тренера Боба, желали, чтобы их дочь водилась только с мальчиками из школы Дейри, а не с городскими, – мамин отец был прежде учителем в школе Дейри (все его звали Латин Эмеритус), а мать ее, дочь врача из

Бруклина, штат Массачусетс, вышедшая замуж за гарвардского выпускника, надеялась, что ее дочь добьется того же. Хотя мать моей матери никогда не жаловалась, что ее гарвардский выпускник утащил ее из бостонского общества в захолустье, она надеялась, что какой-нибудь подходящий парень из школы Дейри утащит мою мать обратно в Бостон.

Моя мать Мэри Бейтс прекрасно знала, что мой отец Вин Берри совсем не тот мальчик из школы Дейри, о котором мечтала ее мать. Гарвард Гарвардом, но это был сын тренера Боба, а отсроченное поступление – совсем не то, что уже учиться или быть в состоянии это себе позволить.

Собственные планы моей матери летом 1939 года были, очевидно, для нее не совсем ясны. Ее отца, старого Латина Эмеритуса, хватил удар, и он, бессвязно лепеча на латыни, ковылял по своему дому в Дейри, в то время как его жена бесплодно за него волновалась, пока не приходила молодая Мэри и не брала заботу о них обоих в свои руки. У Мэри Бейтс в ее девятнадцать лет родители были старше, чем у большинства людей этого возраста – бабушки и дедушки, и у нее было чувство ответственности, если не привязанности, которое говорило, что ей надо оставить мысли о колледже и остаться дома, чтобы ухаживать за ними. Она подумывала научиться печатать на машинке и найти себе какую-нибудь работу в городе. Эта летняя работа в «Арбутноте» на самом деле была для нее своего рода экзотическими летними каникулами перед тем, как ее затянет осенняя рутина. С каждым годом, предвидела она, мальчики в школе Дейри будут все моложе и моложе – и настанет день, когда уже никто из них не будет заинтересован в том, чтобы умыкнуть ее в Бостон.

Мэри Бейтс выросла рядом с Винслоу Берри, хотя тогда при встрече они разве что обменивались кивками или гримасами узнавания.

– Не знаю почему, но мы, кажется, друг на друга и не смотрели, – скажет отец нам, детям.

Так происходило до тех пор, пока они не встретились, находясь далеко от знакомых мест, в которых выросли: разношерстного города Дейри или не менее разношерстной территории школы Дейри.

Когда в июне 1939 года Томпсоновская семинария для девиц устраивала свой выпуск, моя мать с болью обнаружила, что школа Дейри уже закончила учебный год и была закрыта; интересные иногородние мальчики разъехались по домам, и ее два или три «кавалера» (как она их называла), на которых она надеялась, что именно они пригласят ее на ее выпускной бал, тоже уехали. Мальчиков из городской школы она не знала, а когда ее мать предложила Вина Берри, моя мать вылетела из столовой.

– А может, мне попросить об этом самого тренера Боба? – крикнула она своей матери.

Ее отец Латин Эмеритус поднял голову от обеденного стола, за которым дремал.

– Тренер Боб? – сказал он. – Этот придурок опять пришел одолжить сани?

Тренер Боб, которого еще к тому же звали Айова Боб, придурком не был, но для Латина Эмеритуса, у которого удар, похоже, повредил ощущение времени, сверхштатный тренер со Среднего Запада никак не был ровней академическим преподавателям. А давным-давно, когда Мэри и Вин Берри были еще детьми, тренер Боб пришел попросить одолжить ему сани, те знаменитые сани, которые простояли без движения три года во дворе перед домом Бейтсов.

– У этого дурака есть для них лошадь? – спросил Латин Эмеритус у своей жены.

– Нет, он собирается тащить их сам! – ответила мать моей матери.

И семья Бейтс наблюдала в окно, как тренер Боб, посадив на козлы маленького Вина, ухватился за оглобли; здоровенные сани тронулись и выехали с заснеженного двора на скользкую улицу, которая в те дни еще была обсажена вязами.

– Поташил так быстро – прямо как лошадь, – всегда говорила мать.

Айова Боб был самым низеньким лайнменом, который когда-либо играл в футбол¹ в «Большой десятке». Он как-то признался, что однажды так увлекся игрой, что укусил полузащитника, пытавшегося его блокировать. В Дейри в дополнение к своим футбольным обязанностям он тренировал толкателей ядра и инструктировал тех, кто интересовался поднятием тяжестей. Но для семейства Бейтс Айова Берри был слишком прост, чтобы воспринимать его серьезно: забавный квадратный здоровячок с так коротко постриженными волосами, что казался лысым, всегда бегающий трусцой по улицам города.

– ...с ужасного цвета платком на башке, – обычно говорил Латин Эмеритус.

Так как тренер Боб прожил долгую жизнь, он был единственным из наших дедов и бабок, кого мы, дети, еще помнили.

Что слышал Фрэнк и что часто слышали мы после того, как тренер Боб переехал к нам, так это скрип пола (наш потолок) от отжиманий и приседаний в его комнате у нас над головой.

– Это Айова Боб, – прошептала однажды Лилли. – Он хочет навсегда остаться в форме.

* * *

Во всяком случае, на выпускной бал Мэри Бейтс пригласил не Вин Берри. Священник семьи Бейтс, который был значительно старше моей матери, но притом одинок, оказал ей любезность и пригласил ее.

– Это был очень долгий вечер, – рассказывала нам мать. – Я была совершенно подавлена, чужая в своем родном городе. Но очень скоро тот же священник обвенчал нас с вашим отцом.

Они не могли даже и вообразить себе этого, когда их вместе с остальным штатом сотрудников «представляли» друг другу на неестественной зелени изнеженной лужайки «Арбутнота-что-на-море». Даже церемония знакомства сотрудников между собой проходила здесь в строго установленном порядке. Девушка из ряда, где стояли остальные девушки и женщины, вызывалась по имени; она встречалась с молодым человеком, вызванным из ряда, где стояли мужчины и молодые люди, словно они собирались танцевать.

– Это Мэри Бейтс, только что окончившая Томпсоновскую семинарию для девиц! Она будет помогать в отеле и по хозяйству. Она любит плавать под парусом, не так ли, Мэри?

Официанты и официантки, садовники и обслуга корта для гольфа, лодочники и кухонный персонал, подсобные рабочие, портье, горничные, прачки, водопроводчик и оркестранты. Бальные танцы были очень популярны; курорты, расположенные дальше на юг, такие как «Вейрс» в Лаконии или Хэмптон-Бич, приглашали на лето настоящие биг-бенды. Но в «Арбутноте-что-на-море» был свой собственный оркестр, в холодной мэнской манере подражавший нью-йоркскому биг-бенду.

– А это Винслоу Берри, который любит, чтобы его называли Вином! Правильно, Вин? Осенью он поедет в Гарвард!

И мой отец прямо взглянул на мою мать, которая улыбнулась и отвела глаза, так же смущенная за него, как он за нее. Она и не замечала, какой он на самом деле симпатичный; тело у него было такое же крепкое, как у тренера Боба, но школа Дейри привила ему хорошие манеры, научила одеваться и носить стрижку, которая была модна среди бостонцев (а не айовцев). Он выглядел так, словно уже был в Гарварде, по крайней мере так это показалось моей матери.

– Ох, даже не знаю, что я имею в виду, – говорила она нам, детям. – Ну, культурный, что ли... Он выглядел мальчиком, который знает, сколько надо выпить, чтобы не стошнило. Глаза у него были такие темные и такие блестящие – как ни у кого больше, и когда ты на него смотрела, казалось, что он смотрит на тебя... но ты никогда не могла поймать его взгляд.

¹ Имеется в виду американский футбол. Лайнмены (linemen, «линейные игроки») выстраиваются в центре поля. Различаются лайнмены защиты и лайнмены нападения. Их цель соответственно – блокировать игроков противоположной команды в обороне и расчищать дорогу своей команде в нападении.

Эту последнюю особенность мой отец сохранил на всю жизнь; мы всегда чувствовали, что он внимательно и нежно за нами наблюдает, даже когда мы смотрели на него, а он, казалось, смотрел куда-нибудь в другую сторону, мечтал или строил планы, задумывался о чем-то тяжелом и далеком. Даже когда он был совершенно слеп к нашим планам и жизням, он, казалось, «наблюдал» за нами. Это была какая-то смесь отчуждения и теплоты... и впервые моя мать почувствовала это на языке сверкающей зеленой лужайки, окруженной серыми водами мэнского моря.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШТАТА СОТРУДНИКОВ: 16.00

Вот тогда она и узнала, что он находится там.

Когда представление штата было окончено и сотрудников проинструктировали перед первым «часом для коктейлей», первым обедом и первой вечерней программой, моя мать поймала взгляд моего отца – и тот подошел к ней.

– Пройдет еще два года, прежде чем я смогу позволить себе Гарвард, – тут же сказал он ей.

– Я так и догадывалась, – ответила моя мать. – Но думаю, это будет замечательно, если ты туда попадешь, – быстро добавила она.

– А почему бы мне не попасть туда? – поинтересовался он.

Мэри Бейтс пожала плечами – жест, к которому она привыкла, показывая своему отцу, что не понимает его (с тех пор как удар сделал его речь неразборчивой). На ней были белые перчатки и белая шляпка с вуалью; она была одета для «обслуживания» первой вечеринки на лужайке, и мой отец восхитился, как красиво уложены ее волосы: сзади они были длиннее, и она откинула их с лица и каким-то образом заколола под шляпкой и вуалью, так просто и в то же время таинственно, что мой отец восхитился, как она это умудрилась сделать.

– Что ты будешь делать осенью? – спросил он ее.

Она опять пожала плечами, но, может быть, мой отец увидел в ее глазах сквозь белую вуаль, что моя мать надеется избежать того сценария, который она представляла как свое будущее.

– То первое время, насколько я помню, мы были очень милы друг к другу, – говорила нам мать. – Мы оба оказались на новом месте и знали друг о друге то, чего не знал никто вокруг.

В те дни, как я себе это представляю, такие отношения можно было считать достаточно интимными.

– В те дни не могло быть *никакой* интимности, – однажды сказала Фрэнни. – Даже *любовники* не пердели в присутствии друг друга.

А Фрэнни была убедительной – я часто ей верил. Даже язык Фрэнни обгонял ее время – как будто она всегда знала, к чему идет дело, а я никогда не мог за ней угнаться.

В тот первый вечер в «Арбутноте» оркестр в меру сил имитировал биг-бэнд, но гостей было очень мало, а танцующих еще меньше; сезон только что начался, а в Мэне он начинается медленно: там даже летом холодно. Пол на танцевальной площадке был сделан из твердого отполированного дерева и, казалось, тянулся далеко за пределы террасы, выходящей на океан. Когда шел дождь, по краям террасы натягивался тент, так как танцевальная площадка была настолько открыта со всех сторон, что дождь задувало на полированный пол.

В тот первый вечер оркестр играл очень долго; это была особая любезность для сотрудников, поскольку гостей было мало и большинство из них ушли в свои номера – согреться в постели. Моих родителей вместе с другой обслугой пригласили на танцы, длившиеся чуть больше часа. Мать всегда вспоминает, что люстра на танцплощадке была сломана и тускло мигала; неровные цветные пятна усеивали пол, который в слабом свете казался таким мягким и блестящим, словно был сделан из свечного воска.

– Я очень рада, что здесь оказался кто-то, кого я знаю, – прошептала моя мать на ухо отцу, который довольно официально пригласил ее на танец и танцевал несколько скованно.

– Но ты меня не знаешь, – сказал отец.

(– Я сказал это, – пояснял нам отец, – для того, чтобы ваша мать опять пожала плечами.)

А когда она пожала плечами, думая, что с ним невозможно трудно разговаривать, а может быть, он просто высокомерен, мой отец убедился, что не случайно обратил на нее внимание.

– Но я *хочу*, чтобы ты узнала меня, – сказал он ей, – я хочу узнать тебя.

(«Фу!» – всегда говорила в этом месте истории Фрэнни.)

Шум работающего двигателя заглушил звуки оркестра, и многие танцующие покинули танцплощадку, чтобы посмотреть, что происходит. Моя мать была очень благодарна этому перерыву: она не могла придумать, что ответить отцу. Они подошли, не держась за руки, к краю террасы, которая выходила на пристань, и увидели, что у пристани на волнах качаются огни, в море отходит рыбацкая лодка. Лодка только что выгрузила на пристань темный мотоцикл, который теперь и ревел – возможно, набирал обороты, для того чтобы прочистить свои трубы и цилиндры от влажного соленого воздуха. Мотоциклист, казалось, намеревался, прежде чем двинуться с места, надеть как можно больше шума. Мотоцикл был с коляской, а в ней виднелась темная фигура, неуклюжая и спокойная, – как будто человек, на котором надето столько одежды, что ему трудно шевелиться.

– Это Фрейд, – сказал кто-то из сотрудников.

И другие сотрудники, постарше, воскликнули:

– Да! Это Фрейд! Это Фрейд и Штат Мэн!

Мои родители подумали, что «Штат Мэн» – это название мотоцикла. К этому моменту, видя, что аудитория разошлась, оркестр перестал играть, и некоторые музыканты тоже подошли к краю террасы.

– Фрейд! – кричали люди.

Мой отец (так он всегда говорил нам) с изумлением представил себе, что *тот* Фрейд в любой момент может подъехать к террасе по лучу света, протянувшемуся вдоль великолепной гравиевой дорожки, и представиться сотрудникам. Так сюда пожаловал Зигмунд Фрейд, подумал отец: он был влюблен и считал, что все возможно. Но это, конечно, был не *тот* Фрейд, *тот* Фрейд уже умер. *Этот* Фрейд был евреем из Вены с трудным и непроизносимым именем, который, работая летом в «Арбутноте» (а работал он там с 1933 года, сразу после того, как покинул родную Вену), за свое умение успокаивать недовольство как гостей, так и обслуживающего персонала заработал себе имя Фрейд; он был массовиком-затейником, а так как он прибыл из Вены и был евреем, то по «арбутнотским» понятиям имя Фрейд очень естественно подходило для чудаковатого иностранного остряка. Это имя, кажется, особенно подошло ему, когда в 1937 году Фрейд прикатил на новом мотоцикле «индиан» с коляской, которую сделал полностью сам.

– Кто у тебя ездит на заднем сиденье, а кто в коляске, Фрейд? – поддразнивали его девушки – работницы отеля, потому что он был ужасно обезображен страшными и отвратительными оспинами («дыры от нарывов», называл он их), и ни одна женщина никогда не смогла бы его полюбить.

– Никто не ездит со мной, кроме Штата Мэн, – говорил Фрейд.

Он расстегнул брезентовый чехол на коляске. В коляске сидел медведь, черный как сажа, с мускулами толще, чем у Айовы Боба, осторожней любой бездомной собаки. Фрейд притащил медведя с лесопилки, расположенной на севере штата, и умудрился убедить руководство «Арбутнота», что сможет выдрессировать зверя для того, чтобы развлекать гостей. Когда Фрейд, эмигрировав из Австрии, прибыл в гавань Бутбей на лодке из Нью-Йорка, в его рабочих бумагах заглавными буквами были указаны два возможных для него рода занятий: ОПЫТНЫЙ ДРЕССИРОВЩИК И СОДЕРЖАТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ; ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ МЕХАНИКИ.

Животных под рукой не было, так что он чинил автомобили и ставил их на консервацию на те месяцы, когда не было туристов, а сам в это время разъезжал по лесопилкам и бумажным фабрикам, работая механиком.

На самом же деле, как он потом признался моему отцу, он искал медведя. Медведи, говорил Фрейд, вот на чем можно по-настоящему заработать.

Когда мой отец увидел, как под танцевальной террасой с мотоцикла слезает человек, его удивило, насколько радостно рукоплещут незнакомцу старые сотрудники; а когда Фрейд помог выбраться из коляски неуклюжей фигуре, моя мать сперва подумала, что пассажир его – старая-престарая женщина, возможно мать мотоциклиста (полная старуха, завернутая в черное одеяло).

– Штат Мэн! – закричал кто-то из оркестра и затрубил в свою трубу.

Мои мать и отец увидели, как медведь начал танцевать. Танцуя на задних лапах, он отошел в сторону от Фрейда, затем встал на все четыре и сделал один или два небольших круга вокруг мотоцикла. Фрейд стоял на мотоцикле и хлопал в ладоши. Медведь по имени Штат Мэн тоже начал хлопать. Когда моя мать почувствовала, что мой отец взял ее руку в свою – они не хлопали, – она не стала сопротивляться; в ответ она сжала его руку. Оба не сводили глаз с выступающего в нескольких шагах от них громадного медведя, и моя мать подумала: мне девятнадцать лет и моя жизнь только еще начинается.

– Ты действительно это чувствовала? – всегда спрашивала Фрэнни.

– Все относительно, – обычно отвечала мать. – Но да, именно это я и испытывала тогда. Я чувствовала, что моя жизнь *начала*сь.

– Ну даешь, – говорил Фрэнк.

– Так это я или медведь тебе тогда понравился? – спрашивал отец.

– Не говори глупостей, – отвечала мать. – Я говорю обо всем в целом. Это было начало моей жизни.

И это место в рассказе было такой же отправной точкой, как отцовское «он был слишком стар, чтобы и дальше оставаться медведем». Я чувствовал, что эта история не дает мне покоя; когда моя мать говорила, что это было *началом* ее жизни, я представлял ее жизнь подобной мотоциклу, долго рычавшему на холостом ходу и наконец рванувшему с места.

И что, интересно, вообразил мой отец, взяв ее за руку только потому, что рыбацкая лодка привезла в его жизнь медведя?

– Я знал, что он станет *моим* медведем, – говорил нам отец, – не знаю даже почему.

И возможно, именно знание, что когда-то что-то станет ему принадлежать, тоже сыграло роль в том, что он взял мою мать за руку.

Вы видите, почему мы, дети, задавали так много вопросов. Это была сумбурная история – такая, какие и предпочитают рассказывать родители.

* * *

В тот первый вечер, когда они встретили Фрейда и медведя, мой отец с матерью еще даже не целовались. Когда оркестр перестал играть, а служащие разошлись в женское и мужское общежития – несколько менее элегантные здания, стоящие поодаль от главного корпуса отеля, – мои мать и отец пошли к берегу смотреть на воду. Если они тогда и разговаривали, то нам, детям, никогда потом не рассказывали, о чем именно. У пристани, вероятно, было несколько классных парусных яхт, и даже на частных причалах в Мэне наверняка были пришвартованы одна или две рыбацкие лодки. Вполне возможно, там была и шлюпка, которую отец предложил позаимствовать для небольшой прогулки; мать, вероятно, отказалась. Форт Пофам стоял тогда в развалинах и не привлекал такого внимания туристов, как сегодня, но если на берегу около форта Пофам горели огни, то их можно было увидеть от «Арбутнота-что-

на-море». В широком устье реки Кеннебек, при впадении ее в залив, стоял буй с колокольчиком и огнями, а на острове Стейдж в 1939 году уже вполне мог быть маяк – отцу никогда не удавалось этого припомнить.

Но в основном в те дни это был темный берег, так что, когда белый парусный ялик направился к ним – из Бостона или Нью-Йорка, во всяком случае с юго-запада, из цивилизованного мира, – моим родителям он был очень хорошо виден, и они, не отрываясь, следили за ним, пока он не подошел к самой пристани. Отец поймал брошенный ему швартовый конец; он всегда говорил нам, что был в этот момент на грани паники, потому что не знал, что делать с этой веревкой, то ли к чему-то привязать, то ли тянуть за нее, и тут человек в белом смокинге, черных брюках и черных модельных туфлях легко вышел на палубу, взобрался по лестнице на пристань и взял веревку из рук отца. Без особых усилий мужчина протащил за веревку ялик до конца причала, после чего бросил веревку обратно на палубу.

– Ты свободен! – крикнул он тогда в сторону лодки.

Мои мать и отец утверждают, что не видели ни одного моряка на палубе, но ялик спокойно скользнул обратно в открытое море, его желтые огни удалялись, как тонущее стекло, а мужчина в вечернем костюме повернулся к отцу и сказал:

– Спасибо за помощь. Вы здесь новичок?

– Мы оба новички, – ответил отец.

Шикарные одежды мужчины совершенно не пострадали от его путешествия. Для начала лета он был слишком загорелый. Он предложил моим родителям сигареты из красивой плоской черной коробочки. Они не курили.

– Я надеялся успеть к последнему танцу, – сказал мужчина, – но оркестр, наверно, уже разошелся?

– Да, – сказала моя мать.

В девятнадцать лет ни моя мать, ни мой отец не видели таких людей.

(– Он был до неприличия самоуверен, – скажет нам наша мать.

– У него были деньги, – скажет отец.)

– Фрейд с медведем уже здесь? – спросил мужчина.

– Да, – сказал отец. – И мотоцикл.

Мужчина в белом смокинге жадно, но аккуратно курил, разглядывая при этом отель; только несколько комнат были освещены, но наружные световые гирлянды, освещавшие тропинки, кусты живой изгороди и пристань, бросали отсвет на загорелое лицо мужчины, заставляя его щуриться, и отражались в черной колышущейся воде.

– Вы знаете, Фрейд – еврей, – сказал мужчина. – Хорошо, что он уехал из Европы. В Европе сейчас евреям места не будет. Мне это мой брокер сказал.

Важная новость, должно быть, произвела впечатление на моего отца, стремившегося поступить в Гарвард и открыть для себя большой мир и еще не подозревавшего, что война отложит на некоторое время его планы. Мужчина в белом смокинге заставил моего отца второй раз за этот вечер взять руку моей матери, и та опять ответила на его пожатие. Они так и стояли и вежливо ждали, пока мужчина докурит свою сигарету, или попрощается, или просто уйдет.

Но все, что он сказал, было:

– А в *мире* скоро не будет места для *медведей*!

Когда он смеялся, были видны его зубы, такие же белые, как его смокинг. Из-за ветра мои отец и мать не слышали шипенья, с которым окурок упал в океан... или плеска воды от ялика, опять подошедшего к пристани. Внезапно мужчина направился к лестнице, и только тогда, когда он уже соскользнул по ступенькам, Мэри Бейтс и Вин Берри сообразили, что ялик стоит внизу и мужчина успел спрыгнуть на палубу. Никакая веревка из рук в руки не переходила. Ялик, теперь уже не под парусом, направился, неторопливо пыхтя мотором, к юго-западному берегу (опять в сторону Бостона или Нью-Йорка), не боясь ночного путешествия. То, что

мужчина в смокинге крикнул им напоследок, поглотили чихание двигателя, шлепанье волн о корпус ялика и шум ветра, гнавшего чаек, как праздничные шляпки с перьями, выброшенные в воду после попойки. Всю свою жизнь отец жалел о том, что не слышал, что же сказал на прощание этот мужчина.

* * *

Это Фрейд сказал моему отцу, что они видели *владельца* «Арбутнота-что-на-море».

– *Ja*, это был он, все правильно, – сказал Фрейд. – Вот так он и приезжает, раза два за все лето. Однажды он танцевал с девушкой, которая тут работала... последний танец; больше мы ее не видели. Через неделю какой-то парень приезжал за ее вещами.

– Как его зовут? – спросил отец.

– Может быть, *он* – Арбутнот, кто знает? – сказал Фрейд. – Кто-то говорил, что он голландец, но имени его я никогда не слышал. Хотя о Европе он знает все – это я вам говорю!

Моему отцу до смерти хотелось спросить о евреях, но моя мать ткнула его локтем под ребра. Они сидели на площадке для гольфа; это были часы, когда работа уже закончилась и лунный свет окрасил зеленую лужайку в голубой цвет, а красный флажок весело трепыхался на ветру. Медведю по имени Штат Мэн сняли намордник, и он пытался почесаться о тонкий флагшток.

– Иди сюда, глупый, – позвал Фрейд медведя, но тот не обратил на него никакого внимания.

– Ваша семья все еще в Вене? – спросила моя мать Фрейда.

– У меня всей-то семьи – одна сестренка, – ответил он. – А я ничего о ней не слышал с марта прошлого года.

– В марте прошлого года нацисты заняли Австрию, – заметил мой отец.

– *Ja*, это ты мне говоришь? – ответил Фрейд.

Штат Мэн, раздраженный отсутствием у флагштока достаточного для почесывания сопротивления, вырвал флажок из подставки и швырнул на поле.

– Господи Иисусе, – сказал Фрейд. – Если мы куда-нибудь не уйдем, он сейчас все поле раскурочит.

Мой отец вернул дурацкий флажок, обозначенный цифрой «18», обратно в подставку. Матери на этот вечер дали отгул, но она была все еще в форме горничной; она побежала перед медведем, зовя его за собой.

Медведь редко бегал. Он косолапил, подволакивая конечности, и никогда не отходил далеко от мотоцикла. Он так часто терся о мотоцикл, что красная краска на корпусе отливала серебром, как хромовая, а на коническом носу коляски остались вмятины. Он часто обжигался о трубы глушителя, когда пытался почесаться сразу после остановки машины, – оттого местами на трубах оставались клочья подпаленной медвежьей шерсти, как будто мотоцикл и сам прежде был мохнатым животным. Соответственно и Штат Мэн имел на черной шкуре проплешины от трения и подпалины, ровные и коричневые, унылого цвета высохших водорослей.

Чему именно обучен этот медведь, было для всех великой тайной; иногда это было тайной даже для самого Фрейда.

Их совместное «выступление», проводимое в конце дня на вечеринках на открытом воздухе, требовало больших усилий от мотоцикла и Фрейда, чем от медведя. Фрейд ездил круг за кругом, медведь сидел в коляске со снятым чехлом и выглядел как пилот в кабине без рычагов управления. На публике Штат Мэн обычно носил намордник – такую штуку из красной кожи, напоминавшую моему отцу маску, которую надевают при игре в лакросс. В наморднике медведь казался меньше: тот еще сильнее морщил его и без того морщинистую морду и удлиннял нос, делая медведя совсем уж похожим на собаку-переростка.

Так они и ездили круг за кругом; когда же гостям это начинало надоедать и они постепенно возвращались к прерванным разговорам, позабыв об этой диковинке, Фрейд останавливал мотоцикл, не выключая двигателя, слезал, подходил к коляске и начинал по-немецки уговаривать медведя. Толпе это казалось забавным, в особенности забавным казалось то, что кто-то говорит по-немецки, но Фрейд не унимался, пока медведь медленно не вылезал из коляски и не забирался на место водителя; его тяжелые передние лапы ложились на руль, а короткие задние не доставали до подножек или тормозов. Фрейд забирался в коляску и приказывал медведю трогаться.

Ничего не происходило. Фрейд сидел в коляске, возмущаясь отсутствием движения; медведь мрачно держался за руль, ерзал в седле и раскачивал задними лапами взад и вперед, как будто куда-то плыл.

– Штат Мэн! – кричал кто-нибудь.

Медведь в ответ кивал с каким-то смущенным достоинством и оставался на своем месте.

Фрейд, что-то яростно крича по-немецки (все были от этого просто без ума), выбирался из коляски и подходил к сидящему за рулем медведю. Он начинал показывать медведю, как управлять мотоциклом.

– Сцепление! – объявлял Фрейд.

Он брал здоровенную лапу медведя и клал ее на рычаг сцепления.

– Дроссель! – кричал он и другой лапой медведя заставлял мотоцикл реветь.

У Фрейдова «индиана» 1937 года переключатель передач располагался сбоку на бензобаке, так что это было зрелище не для слабонервных – когда водителю приходилось убрать одну руку с руля, чтобы включить или переключить передачу.

– Передача! – кричал Фрейд и приводил мотоцикл в движение.

После того как медведь начинал двигаться по лужайке, дроссель застыл на небольшой скорости, не позволяя ни ускорить, ни замедлить движение. Мотоцикл неотвратно ехал прямо на чопорных и красиво разодетых гостей: мужчины были в шляпах – даже те из них, кто только оторвался от своих физических упражнений; мужчины-купальщики в «Арбутноте-что-на-море» и те носили костюмы, скрывающие торс и соски, хотя в тридцатых на мужчинах все чаще и чаще встречались шорты. Но только не в Мэне. Пиджаки у мужчин и жакеты у женщин были с плечиками. Мужчины носили белые фланелевые костюмы, широкие и мешковатые, спортивные женщины предпочитали двухцветные туфли и коротенькие носочки; «одетые» женщины были в платьях с естественной талией и рукавами-буф. До чего же красочное зрелище представляли они собой, когда на них ехал медведь, по пятам преследуемый Фрейдом.

– *Nein! Nein!* Ты, глупый медведь!

А Штат Мэн, с выражением на морде, которое под намордником оставалось для гостей загадкой, ехал вперед, лишь слегка наваливаясь на руль.

– Глупое животное! – кричал Фрейд.

А медведь продолжал двигаться, всякий раз проезжая под тентом для вечеринок и никогда не сбивая поддерживающих столбов, не переворачивая накрытые белыми скатертями столы и не сталкиваясь с баром. Официанты бежали за ним вдогонку по лужайке. Теннисисты весело приветствовали это зрелище, но, когда медведь подъезжал поближе к корту, прекращали свою игру.

Может быть, медведь знал, что он делает, а может, и нет, но он никогда не врезался в живую изгородь и не ехал слишком быстро; он никогда не сворачивал к пристани и не пытался заехать на борт яхты или рыбацкой лодки. А Фрейд всегда успевал поймать его, когда возникало ощущение, что гости уже сыты этим зрелищем. Фрейд взгромождался на мотоцикл позади медведя и, толкая его широкую спину, возвращал медведя и «индиана» 1937 года выпуска обратно на лужайку.

– Итак, несколько приемов мы отработали! – кричал он толпе. – Конечно, оmlет не без мух, но *nicht* беспокойтесь. Не успеете оглянуться, как он будет делать все без сучка и задоринки!

Таково было представление. Оно никогда не менялось. Это было все, чему Фрейд научил Штата Мэн; он уверял, что это все, чему медведь смог научиться.

– Не лучший медведь, – говорил Фрейд моему отцу. – Я добыл его, когда он был слишком уж стар. Думал, что сойдет. Он был послушным, как детеныш. Но на лесопилке его ничему не научили. Во всяком случае, у этих людей нет никаких манер. Они тоже просто животные. Держали медведя как домашнюю скотину; они его хорошо кормили, чтобы он не начал безобразничать, и просто позволяли ему болтаться по округе и бездельничать. Как и они сами. Думаю, у медведя и проблемы со спиртным из-за этих лесорубов. Сейчас он не пьет, я ему не даю, но он ведет себя так, как будто ему этого хочется, – понимаешь, о чем я?

Отец не понимал. Он считал, что Фрейд великолепен, а «индиан» 1937 года выпуска – лучшее транспортное средство, какое он когда-либо встречал. В выходные мои мать и отец катались по прибрежным дорогам, прижавшись друг к другу, прохладяясь на соленом ветерке. Но они никогда не были одни: мотоцикл нельзя было вывезти из «Арбутнота» без Штата Мэн в коляске. Медведь приходил в ярость, если кто-то пытался увезти мотоцикл без него: только это и могло заставить его перейти на бег. А бегал медведь на удивление быстро.

– Давай попробуй уехать, – сказал Фрейд моему отцу. – Но лучше толкай машину на руках до самого шоссе и только там запускай двигатель. В первый раз не бери с собой бедняжку Мэри. И надень побольше толстых одежек: если он тебя поймает, то попытается намять тебе бока. Он не свихнется от ярости, просто разволнуется. Давай попробуй. Но если ты через несколько миль обернешься и увидишь, что он все еще бежит за тобой, лучше развернись и поезжай назад. У него может случиться сердечный приступ, или он потеряется... он такой глупый... Он не умеет ни охотиться, ничего. Он беспомощен, если его не кормить... домашнее животное, а никакой уже не дикий зверь. Он, может быть, только в два раза умнее немецкой овчарки. А такого ума для этого мира недостаточно, сам знаешь.

– Мира? – каждый раз переспрашивала Лилли, выпучив глаза.

Но мир для моего отца в то лето 1939 года был нов и наполнен застенчивыми прикосновениями моей матери, ревом «индиана» 1937 года, сильным запахом Штата Мэн, холодными мэнскими ночами и мудростью Фрейда.

Хромотой своей тот был обязан, конечно, мотоциклетной аварии: ногу неправильно срастили.

– Дискриминация, – заявлял он.

Фрейд был маленьким, сильным, настороженным, как животное, и имел кожу очень странного цвета (как зеленая оливка, которую долго тушили на медленном огне до тех пор, пока она не стала почти коричневой). У него были маслянистые черные волосы, странный пучок которых рос у него на щеке, прямо под глазом: поросль шелковистых волос крупнее обычной родинки, размером, по крайней мере, с мелкую монетку и отчетливей, чем обычная родинка, и это было такой же естественной частью лица Фрейда, как устрица, присосавшаяся к скале на мэнском побережье.

– Это потому, что у меня такие огромные мозги, – говорил Фрейд моей матери и отцу. – Мои мозги не оставляют места для волос, которые начинают ревновать и иногда растут там, где не положено.

– Может быть, это были медвежьи волосы, – однажды на полном серьезе сказал Фрэнк, а Фрэнни завизжала и так крепко обняла меня, что я даже прикусил язык.

– Ну, Фрэнк, сказанул! – воскликнула она. – Покажи нам *свои* медвежьи волосы, Фрэнк.

Бедняга Фрэнк к этому моменту достиг половой зрелости; он несколько опережал время и был очень этим смущен. Но даже Фрэнни не могла отвлечь нас от зачаровывающего сказания

о Фрейде и его медведе; мы, дети, были увлечены этим так же, как наши мать и отец в то лето 1939 года.

Отец рассказывал, что иногда по вечерам провожал мою мать до общежития и целовал ее на прощание, желая спокойной ночи. Если Фрейд уже спал, то отец отстегивал цепь Штата Мэн от мотоцикла, снимал медведю намордник, чтобы зверь мог есть, и отправлялся вместе с ним на рыбалку. Низко над мотоциклом был натянут брезент, который защищал Штата Мэн от дождя, и отец для таких случаев держал свои рыболовные принадлежности завернутыми в край брезента.

Рыбачили они с пирса на мысу, расположенного за пристанями отеля и усыпанного рыбацкими лодками и яликами. Они шли в самый конец пирса, усаживались там, и отец забрасывал, как он говорил, «живчиков» на сайду. Он скармливал сайду Штату Мэн прямо живьем. Обычно отец вытаскивал три или четыре сайды, этого было вполне достаточно и для него, и для Штата Мэн, после чего они отправлялись домой. Но однажды вечером сайда не ловилась, и, просидев час без единой поклевки, отец собрался уходить, чтобы вернуть медведя к его цепи и наморднику.

– Пошли, – сказал он, – на сегодня в океане вся рыба кончилась.

Штат Мэн и не пошевелился.

– Пошли! – сказал отец.

Но Штат Мэн не давал и отцу покинуть причал.

– Эрл! – прорычал медведь.

Отец сел и продолжил рыбалку.

– Эрл! – жаловался медведь.

Отец забрасывал и забрасывал снасти, он менял наживки, он все перепробовал. Если бы он мог покопаться в лужицах ила и насобирать личинок, то можно было бы попробовать половить на дне камбалу. Но медведь не отпускал его с пристани. Отец уже подумывал о том, чтобы прыгнуть в воду, доплыть до берега и сбегать в общежитие за Фрейдом, а затем, захватив что-нибудь съестное в отеле, прийти и забрать Штата Мэн. Но через некоторое время отец проникся духом этой ночи и сказал:

– Хорошо, хорошо, так ты хочешь рыбки? Мы поймаем рыбку, черт подери!

Незадолго до рассвета на пристани появился ловец омаров, собиравшийся выйти в море, чтобы проверить свои сети и закинуть новые, и, к великому его несчастью, у него с собой была и приманка. Штат Мэн унюхал приманку.

– Лучше отдай ее ему, – сказал отец.

– Эрл! – сказал Штат Мэн, и рыбак отдал ему всю свою наживку.

– Мы заплатим тебе, – сказал отец, – при первой же возможности.

– Я знаю, что я бы сделал при первой возможности, – сказал рыбак. – Я бы посадил этого медведя в мою вершу вместо наживки. Очень хотелось бы посмотреть, как его сожрут омары!

– Эрл! – сказал Штат Мэн.

– Ты лучше его не дразни, – предупредил отец рыбака, и тот не стал с ним спорить.

– *Ja*, он не очень умен, этот медведь, – сказал Фрейд моему отцу. – Мне надо было тебя предупредить. Насчет еды его иногда клинит. На лесопилке его перекармливали; он все время ел, уйму всякой дряни. И теперь иногда ему вдруг приходит в голову, что он недостаточно поел или хочет выпить, или что-то там еще. И запомни вот еще что: никогда не садись есть сам, если сначала не накормишь его. Ему такое не нравится.

Так что перед выступлением Штата Мэн всегда очень хорошо кормили. Накрытые белыми скатертями столы ломились от закусок, деликатесной рыбы, жареного мяса, и будь Штат Мэн голоден, могли бы случиться неприятности. Но Фрейд всегда до отвала кормил его перед выступлением, и обожравшийся медведь спокойно управлял мотоциклом. За рулем он

выглядел мирно, даже скучающе, как будто самыми необходимыми физиологическими потребностями для него были могучая отрыжка и необходимость очистить свои медвежьи кишки.

– Пустое дело – я только теряю деньги, – говорил Фрейд. – Это место слишком роскошное. Сюда только разные снобы и приезжают. Мне нужно перебраться куда-нибудь, где люди попроще, куда-нибудь, где играют в бинго, а не просто танцуют. Найти бы какое-нибудь более демократическое место... место, где устраивают собачьи бои, ну, сам знаешь.

Мой отец *не* знал, но он, должно быть, с восхищением думал о подобных местах, более грубых, чем «Вейрс» в Лаконии или даже Хэмптон-Бич. Местах, где больше пили и сорили деньгами на медвежьем представлении. В «Арбутноте» публика была слишком уж рафинированная для такого человека, как Фрейд, и такого медведя, как Штат Мэн. Она была слишком рафинированна даже для того, чтобы оценить этот мотоцикл – «индиан» 1937 года выпуска.

Но мой отец понимал, что у Фрейда нет амбиций, которые тянули бы его в другое место. У Фрейда получалось легкое лето здесь, в «Арбутноте», просто медведь не оказался, как он мечтал, золотой жилой. Чего Фрейду хотелось, так это другого медведя.

– С таким глупым медведем, – сказал Фрейд моим родителям, – нечего и пытаться загрести побольше. К тому же на дешевых курортах... другие проблемы.

Моя мать взяла отца за руку и предупреждающе ее сжала, – возможно, она это сделала потому, что видела, как он уже мечтает о «других проблемах», о тех «дешевых курортах». Но мой отец думал о своей учебе в Гарварде; ему *нравились* «индиан» 1937 года выпуска и медведь по имени Штат Мэн. Он не заметил, чтобы Фрейд приложил хоть малейшие усилия для того, чтобы дрессировать медведя, а Вин Берри был мальчиком, который верил в себя; сын тренера Боба воображал, будто может достичь всего, что придет ему в голову.

Раньше он планировал, что по окончании лета в «Арбутноте» поедет в Кембридж, снимет комнату и найдет работу, возможно, в Бостоне. Он изучит местность вокруг Гарварда и найдет себе работу где-нибудь поблизости, так что, когда у него будут деньги на учебу, он сразу же поступит в Гарвард. Или даже, воображал он, ему удастся совмещать работу с учебой. Матери, конечно, эти планы нравились, так как в ту пору от Бостона до Дейри довольно регулярно ходили поезда по ветке «Бостон-энд-Мэн». Она уже представляла себе визиты моего отца, долгие уик-энды, а может быть, при случае ей и самой удастся, не жертвуя приличиями, посетить его в Бостоне или Кембридже.

– Да что ты вообще знаешь о медведях? – спрашивала она. – Или о мотоциклах?

Ей также не нравилась и другая идея: если Фрейд не захочет расстаться со своим «индианом» или с медведем, отец может отправиться на лесопилку вместе с ним. Вин Берри был сильным молодым человеком, но не вульгарным. А мать представляла себе лесопилки как очень вульгарные места, откуда отец вернется совсем иным, если вообще вернется.

Ей не стоило беспокоиться. То лето уже было кем-то спланировано от начала и до конца, и это было более грандиозно и неотвратимо, чем все тривиальные замыслы, которые могли прийти в голову моему отцу и матери. Лето 1939 года было так же неотвратимо, как будущая война в Европе, и все они, Фрейд, Мэри Бейтс и Винслоу Берри, неслись в его потоке, как чайки, захваченные бурным течением Кеннебека.

* * *

Однажды вечером в конце августа, когда мать только что кончила прислуживать за ужином и только успела надеть свои двухцветные туфли и длинную юбку, в которой она играла в крокет, отца вызвали из его комнаты, чтобы помочь поранившемуся человеку. Отец пробежал через лужайку для крокета, где его ждала мать. На плече она держала клюшку. Развешенные на деревьях, наподобие рождественских, гирлянды заливали лужайку таким призрачным светом, что моему отцу мать показалась «ангелом с клюшкой».

– Подожди минуту, я сейчас, – сказал ей отец. – Там кто-то поранился.

Она побежала за ним и еще несколькими бегущими мужчинами к пристани отеля. У пристани стоял большой пароход, освещенный огнями. На борту царило оживление, играл оркестр, в котором было слишком много духовых инструментов. Сильный запах топлива и выхлопных газов в соленом воздухе смешивался с запахом раздавленных фруктов. Оказалось, что пассажирам была подана огромная чаша с фруктовым пуншем и они азартно расплескивали его на себя, а также на палубу. В конце пристани на боку лежал человек, у которого на щеке кровоточила рана: он поднимался по лестнице и порвал себе щеку о причальный клин.

Это был крупный мужчина, его лицо багровело в голубом потоке лунного света; он сел, как только кто-то притронулся к нему.

– *Scheiss!* – сказал он.

Мои мать и отец благодаря многочисленным выступлениям Фрейда узнали это слово – «дерьмо» по-немецки. С помощью нескольких сильных молодых людей немец был поставлен на ноги. Он изрядно перепачкал кровью свой белый смокинг, в котором поместились бы два человека; его сине-черный кушак больше походил на занавес, а гармонирующий с кушаком галстук-бабочка врезался в шею и торчал, как изогнутый пропеллер. У него был двойной подбородок, и от него всюду разило пуншем, который подавался на судне. Он кому-то что-то проревел. На борту собралась толпа немцев, и высокая загорелая женщина, в вечернем платье с желтыми кружевами или рюшами, спустилась по трапу, как затянута в шелк пантера. Окровавленный мужчина схватился за нее и так сильно на нее оперся, что она, несмотря на свою бросавшуюся в глаза силу и здоровье, пошатнулась и врезалась в моего отца, который помог ей удержаться на ногах. Она, заметила мать, была намного моложе мужчины и, так же как и он, была немкой – болтала с ним каким-то кудактающим говором, в то время как он продолжал кровоточить и шумно жестикулировал, повернувшись к столпившимся у борта немцам. Шатаясь, эта крупная пара прошла по пристани, потом по дорожке.

У входа в «Арбутнот» женщина повернулась к моему отцу и, стараясь справиться с акцентом, сказала:

– Он нужен швы, *ja*? Конечно, у вас имеется доктор.

– Позови Фрейда, – прошептал дежурный клерк отцу.

– Швы? – сказал Фрейд. – Доктор живет аж в Бате, и он пьян. Но я могу кому угодно наложить швы.

Дежурный клерк прибежал к общежитию и заорал: «Фрейд!»

– Садись на свой «индиан» и живо привези сюда старого доктора Тодда! Когда вы приедете, мы его протрезвим, – сказал Фрейду менеджер. – Но ради всего святого, поезжай!

– Это займет целый час, если я вообще смогу его найти, – сказал Фрейд. – Ты же знаешь, я могу наложить швы. Только дайте мне соответствующую одежду.

– Это совсем другое, – сказал дежурный клерк. – Думаю, это совсем другое... я имею в виду парня, Фрейд. Он немец, Фрейд. И у него порез на *лице*.

Фрейд стянул комбинезон со своего рябого оливкового тела и начал расчесывать свои влажные волосы.

– Одежда, – сказал он. – Просто принесите мне одежду. Это слишком сложно, найти сейчас старого доктора Тодда.

– У него рана на *лице*, Фрейд, – сказал отец.

– Что такое лицо? – возмутился Фрейд. – Просто кожа, *ja*? Точно так же, как на руках или ногах. Я уже зашивал уйму ног. И после топора, и после пилы... этим тупым лесорубам.

Снаружи немцы с парохода несли сундуки и другой тяжелый багаж по самому короткому пути от пристани ко входу: через восемнадцатую лунку.

– Только посмотрите на этих свиней, – сказал Фрейд. – Топчутся там, где должен кататься маленький беленький мячик.

В комнату Фрейда вошел старший официант. Это была лучшая комната во всем общежитии, никто не знал, как Фрейд умудрился получить ее. Старший официант начал раздеваться.

– Все, кроме твоего пиджака, приятель, – сказал ему Фрейд. – Доктора не носят официантских фраков.

У отца был черный пиджак, который более или менее подходил к брюкам официанта, и он принес его Фрейду.

– Я миллион раз им говорил, – сказал старший официант, хотя очень странно было видеть, как он, стоя нагишом, говорит с таким апломбом, – что должен быть доктор, который постоянно жил бы в отеле.

– Ну вот, – объявил Фрейд, полностью одевшись.

Дежурный клерк побежал к главному зданию впереди него. Отец смотрел, как старший официант беспомощно глядит на оставленный Фрейдом комбинезон: тот был не слишком чистым и основательно провонял Штатом Мэн, официант явно не хотел его надевать. Отец побежал догонять Фрейда.

По гравиевой дорожке напротив главного входа немцы волочили теперь здоровенный сундук; утром кому-то придется изрядно поработать граблями.

– Разве нет никто в этой отел помочь нам? – проорал один из немцев.

На чистом, без единого пятнышка, прилавке в служебной комнате между главным обеденным залом и кухней лежал, как труп, здоровенный немец с рассеченной щекой. Его бледная голова покоилась на сложенном пиджаке, который уже никогда больше не будет белым; его пропеллер из галстука-бабочки осел на горло, пояс был ослаблен.

– Это кароший доктор? – спросил он у дежурного клерка.

Молодая великанша, в платье с желтыми рюшами, ринулась вперед и схватила клерка за руку.

– Отличный доктор, – заверил его дежурный клерк.

– Особенно в накладывании швов, – сказал мой отец.

А моя мать сжала его руку.

– Думай, этот не очень цивилизованная отель, – сказал немец.

– Это есть дикий место, – сказала загорелая атлетка, но тут же поспешила усмехнуться. – Думай, это *nicht* очень страшный рана. – Она повернулась к моему отцу с матерью и дежурному клерку. – Думай, нам не надо очень кароший доктор починить эту рану.

– Лишь бы только не *еврей*, – пошутил немец.

Он закашлялся. Фрейд был за дверью, и его никто пока не видел; он никак не мог продеть нитку в иголку.

– Это не еврей, я уверена, – рассмеялась загорелая принцесса. – Они *не имеют* евреев в Мэне!

Но когда она увидела Фрейда, у нее уже не было такой уверенности.

– *Guten Abend? Meine Dame und Herr*, – сказал Фрейд. – *Was ist los?*²

Мой отец сказал, что Фрейд в черном пиджаке казался таким маленьким и настолько был обезображен этими его шрамами от нарывов, что немедленно складывалось впечатление, будто свою одежду он украл – причем *по крайней мере* у двух различных людей. Даже его самый бросающийся в глаза инструмент был черным: черный моток ниток, который он сжимал в руках, обтянутых серыми резиновыми перчатками, какими пользуются посудомойки. В маленьких руках Фрейда лучшая иголка, найденная им в «арбутнотовской» прачечной, выглядела слишком большой, как будто он схватил иголку, которой зашивают паруса на гоночных яхтах. Хотя, возможно, так оно и было.

– Герр доктор? – спросил немец, и его лицо побледнело еще больше.

2 Добрый вечер? Дама и господин. Что случилось? (нем.)

Его рана тут же перестала кровоточить.

– Герр доктор профессор Фрейд, – сказал Фрейд, подходя ближе и склоняясь над раной.

– Фрейд? – переспросила женщина.

– *Ja*, – ответил Фрейд.

Когда он выливал первую стопку виски на рану немцу, виски попало больному в глаз.

– Опа! – сказал Фрейд.

– Ослеп! Я ослеп! – завывал немец.

– *Nein*, вы *nicht* ослепли, – сказал Фрейд, – но глаза надо было закрывать.

Он выплеснул еще одну стопку на рану, после чего приступил к работе.

* * *

Утром управляющий попросил Фрейда не выступать со Штатом Мэн до тех пор, пока не уедут немцы: они должны были отплыть, как только на их большое судно будет загружен запас продовольствия. Фрейд наотрез отказался облачиться в костюм доктора; он настоял на том, что будет возиться со своим «индианом» 1937 года в комбинезоне механика. В этом-то наряде немец его и обнаружил, в не так чтобы совсем неприметной, но довольно уединенной ложбинке за теннисным кортом, на пути к морю. Огромное перевязанное лицо немца изрядно распухло. Он приблизился к Фрейду очень осторожно, как будто маленький мотоциклетный механик мог оказаться братом-близнецом давешнего «герра доктора профессора».

– *Nein*, это он, – сказала загорелая женщина, прицепившаяся к руке немца.

– И что доктор-еврей лечит этим утром? – спросил немец Фрейда.

– Свое хобби, – ответил Фрейд, не поднимая взгляда.

Мой отец, который подавал Фрейду, как ассистент хирургу, мотоциклетные инструменты, покрепче перехватил гаечный ключ на три четверти дюйма.

Медведя немецкая пара не видела. Штат Мэн чесался об ограду теннисного корта, ворча и раскачиваясь в ритме, соответствующем мастурбации, продавливая своей спиной в металлической сетке глубокие борозды. Моя мать, чтобы он чувствовал себя посвободнее, сняла с него намордник.

– Я никогда не слышать о таком мотоцикле, – критически заметил немец. – Думай, это рухлядь, *ja*? Что такое «индиан»?³ Никогда не слышать о таком.

– Можете сами попробовать прокатиться, – предложил Фрейд. – Хотите?

Немка, похоже, прокатиться отнюдь не желала, и было ясно, что она от такого предложения не в восторге, а вот немцу оно, кажется, пришлось по вкусу. Он подошел поближе к мотоциклу, потрогал бензобак, пробежал пальцами по связке проводов, погладил рукоять переключения скоростей. Он ухватился за дроссель и резко повернул его. Потрогал мягкую резиновую трубку, доставлявшую бензин от бака к карбюратору и похожую среди всего этого металла на обнаженный живой орган. Не спрашивая разрешения у Фрейда, открыл золотник карбюратора, пощупал его и смочил свои пальцы бензином, затем вытер пальцы о сиденье.

– Не возражаете, *герр доктор*? – спросил немец Фрейда.

– Нет, попробуйте, – ответил Фрейд, – сделайте кружок.

А это было лето 1939 года, и мой отец предвидел, чем все кончится, но вмешиваться не стал.

– Я не мог остановить этого, – всегда говорил отец. – Это надвигалось так же, как война.

Мать, стоя у ограды теннисного корта, видела, как немец садится на мотоцикл; она подумала о том, что лучше бы снова надеть намордник на Штата Мэн. Но медведь не дался ей, он крутанул головой и принялся чесаться еще сильнее.

³ Indian (англ.) – индеец.

– Стартер обычный ножной, *ja?* – спросил немец.

– Просто толкните машину, и она сразу запустится, – сказал Фрейд.

Что-то в том, как мой отец и Фрейд отошли от мотоцикла, заставило молодую немку присоединиться к ним, она тоже отступила назад.

– Поехали! – сказал немец и ударил по стартеру.

С первым звуком запускающегося двигателя, еще до того, как он взревел, Штат Мэн настороженно застыл у ограды; густая шерсть на его груди вздыбилась, и он устремился прямо через корт к «индиану» 1937 года выпуска, который собирался куда-то уехать без него. Когда немец начал, сперва довольно осторожно, двигаться по лужайке в сторону дорожки, медведь встал на все четыре лапы и побежал. Уже на полной скорости он вырвался на центр корта и прервал матч двое на двое: ракетки полетели в сторону, мячи раскатились по полю. Игрок, стоявший у сетки, так и приник к ней и зажмурил глаза, когда медведь с ревом пронесся мимо.

– Эрл! – крикнул Штат Мэн, но немец за грохотом «индиана» 1937 года выпуска ничего не слышал.

Немка, однако, услышала, и повернулась вместе с моим отцом и Фрейдом, и увидела медведя!

– *Got!* Какая дикость! – воскликнула она и упала в обморок на моего отца, который аккуратно уложил ее на лужайку.

Когда немец увидел, что его преследует медведь, он еще не совсем сориентировался на местности; он не был уверен, где находится главная дорога. Если бы он нашел главную дорогу, то, конечно, смог бы уйти от медведя, но, ограниченный узкими грунтовыми тропинками и мягкими спортивными полями, не мог развить нужной скорости.

– Эрл, – прорычал медведь.

Немец повернул на крокетную лужайку и направился к тентам для пикников, где уже накрывали столы. Медведь нагнал мотоцикл менее чем за двадцать пять ярдов и неуклюже попытался залезть на заднее сиденье позади немца, как будто Штат Мэн наконец-то освоил Фрейдовы уроки езды и собирался настоять на том, чтобы представление было исполнено по всем правилам.

* * *

На этот раз немец не разрешил Фрейду зашивать его, но даже Фрейд признался, что эта работа была бы ему не по зубам.

– Ну и месиво, – поражался Фрейд в разговоре с моим отцом. – Столько швов – это не для меня. Стоять и слушать, как он воет все время, пока я накладываю эти швы...

Таким образом, береговая охрана доставила немца в больницу в Бате. Штат Мэн был заперт в прачечной, подтверждая мифический статус виновника происшествия как дикого медведя.

– Он выскочил из чаща, – рассказывала ожившая немка. – Его, должно быть, *приманил* звук мотоцикла.

– Это была медведица с медвежатами, – объяснял Фрейд. – *Sehr* опасны в это время года.

Но дирекция «Арбутнота-что-на-море» не собиралась спустить дело на тормозах, и Фрейд это знал.

– Я уеду прежде, чем мне опять придется разговаривать с *ним*, – сказал Фрейд моему отцу и матери; они знали, что Фрейд имеет в виду владельца «Арбутнота», человека в белом смокинге, иногда появляющегося на последний танец. – Я просто не смогу вынести его разглашательства: «Ну, Фрейд, ты знал о риске, мы его с тобой обсуждали. Когда я согласился иметь здесь животное, *мы* договорились, что это под *твою* ответственность». А если он еще при этом и скажет мне, что я счастливый еврей, так как оказался в его раздолбанной Америке, я

разрешу Штату Мэн съесть *его*! – Потом Фрейд добавил: – Мне не нужен ни он, ни его шикарные сигареты. В конце концов, этот отель мне совершенно не подходит.

Медведь, нервный от сидения взаперти в прачечной и обеспокоенный тем, что Фрейд так поспешно пакуется, укладывая вещи в чемодан еще мокрыми, едва вынув их из корыта, начал ворчать себе под нос.

– Эрл! – прошептал он.

– Заткнись! – взревел Фрейд. – Ты тоже не тот медведь, который мне нужен.

– Это я виновата, – сказала мать. – Не надо было мне снимать с него намордник.

– Любовное покусывание, не более того, – возразил Фрейд. – Это он своими когтями отделал этого засранца.

– Не думаю, чтобы он так озверел, если бы тот не вцепился ему в шерсть, – сказал отец.

– Конечно нет, – согласился Фрейд. – Кому понравится, когда у тебя выдергивают волосы.

– Эрл! – пожаловался Штат Мэн.

– Тебя так и надо звать – Эрл! – объявил Фрейд медведю. – Ты настолько глуп, что ничего больше сказать и не можешь.

– Что вы собираетесь делать? – спросил отец Фрейда. – Куда поедете?

– Обратно в Европу, – ответил Фрейд, – там умные медведи.

– Там сейчас нацисты, – заметил отец.

– Дайте мне умного медведя, и насрать мне на нацистов, – заявил Фрейд.

– Я позабочусь о Штате Мэн, – сказал отец.

– Ты можешь сделать нечто лучшее, – предложил Фрейд. – Ты можешь *купить* его. Двести долларов и твоя одежда. Это все мокрое, – закричал он, разбрасывая свой гардероб.

– Эрл! – недовольно сказал медведь.

– Следи за своими выражениями, Эрл, – сказал Фрейд.

– Двести долларов? – переспросила мать.

– Это все, что они должны были мне заплатить, – заметил отец.

– Я знаю, что они должны были тебе заплатить, – сказал Фрейд. – Поэтому и прошу только двести долларов. Мотоцикл тоже забирай. Ты понимаешь, почему тебе надо сохранить и «индиан» тоже, *ja*? Штат Мэн не может разезжать в машинах, его там укачивает. Один лесник посадил его однажды на цепь в пикапе; я это видел. Глупая зверюга разорвала цепь, выбила заднее окно кабины и намяла парню бока. Так что не делай глупостей. Покупай «индиан».

– Двести долларов, – повторил отец.

– А теперь о твоей одежде, – сказал Фрейд.

Он оставил свои собственные мокрые вещи на полу прачечной. Медведь попытался проследовать за ним в комнату отца, но Фрейд попросил мою мать вывести Штата Мэн во двор и посадить на цепь у мотоцикла.

– Бедняга понимает, что вы уезжаете, поэтому и нервничает, – посетовала мать.

– Он просто соскучился по мотоциклу, – сказал Фрейд, но все же взял медведя с собой наверх. Хотя Арбутнот просил его не делать этого.

– Какое мне теперь дело до того, что они здесь разрешают, а что нет? – заявил Фрейд, примеряя платье моего отца.

Мать следила за холлом: медведям и женщинам не разрешено находиться в мужском общежитии.

– Не великовато? – спросил отец у Фрейда, когда тот переоделся.

– Я же все еще расту, – заявил Фрейд, хотя на тот момент ему было как минимум сорок. – Если бы раньше я правильно одевался, то давно был бы больше.

Он надел три пары брюк моего отца, прямо одни на другие, и надел два пиджака, набив их карманы бельем и носками; третий пиджак он перекинул через плечо.

– Зачем утруждать себя чемоданами? – заметил он.

– Но как вы доберетесь до Европы? – прошептала моя мать, заглянув в комнату.

– Через Атлантику, – ответил Фрейд. – Идите-ка сюда, – сказал он моей матери, затем взял руки отца и матери и соединил их вместе. – Вы всего лишь еще подростки, – сказал он им, – так что слушайте: вы влюблены. Начнем с этого предположения, *ja*? – И хотя мои отец и мать никогда не признавались друг другу в любви, они оба кивнули, в то время как Фрейд продолжал держать вместе их руки. – Хорошо, – проговорил Фрейд, – ну а теперь из этого следуют три вещи. Вы обещаете мне, что согласитесь со всеми этими тремя вещами?

– Обещаю, – сказал отец.

– И я тоже, – сказала мать.

– Отлично, – кивнул Фрейд. – Вот вам номер один: вы поженитесь прямо сейчас, пока какой-нибудь дурень или шлюха не заставят вас передумать. Понятно? Вы поженитесь, даже если это вам будет чего-то стоить.

– Хорошо, – согласились родители.

– Теперь второе, – сказал Фрейд, смотря только на моего отца. – Обещай мне, что ты закончишь Гарвард, чего бы тебе это ни стоило.

– Но я уже буду женат, – заметил отец.

– Я сказал «чего бы тебе это ни стоило», разве не так? – напомнил Фрейд. – Обещай мне: ты пойдешь в Гарвард. Ты воспользуешься *каждой* благоприятной возможностью, которую тебе предоставит этот мир, даже если их будет слишком много. В один прекрасный день все благоприятные возможности исчезнут, сам знаешь.

– Все равно я хочу, чтобы ты пошел в Гарвард, – сказала отцу мать.

– Чего бы мне это ни стоило, – добавил отец и согласился.

– А теперь мы дошли до третьего, – сказал Фрейд. – Готовы? – Он повернулся к матери и выпустил руку отца, он даже отстранил ее так, что теперь он один держал мать за руку. – Прости его, – сказал Фрейд матери, – чего бы это тебе ни стоило.

– За что меня прощать? – поинтересовался отец.

– Прости его, и все, – сказал Фрейд, глядя только на мою мать.

Та пожала плечами.

– А ты... – обратился Фрейд к медведю, который возился у отца под кроватью.

Фрейд напугал Штата Мэн, который нашел под кроватью теннисный мячик и запихал его в рот.

– Урп! – сказал медведь.

Мячик выкатился на пол.

– Ты, – сказал Фрейд, – постарайся в один прекрасный день ощутить благодарность за то, что тебя вытащили из отвратительного царства *природы*!

Это было все. Как потом говорили мои отец и мать, это была и свадьба, и благословение. Мой отец всегда говорил, что это была добрая старомодная еврейская служба; евреи были для него загадкой, так же как Китай, Индия, Африка и прочие экзотические места, где он никогда не бывал.

Отец посадил медведя на цепь, прикрепленную к мотоциклу. Когда они на прощание поцеловали Фрейда, медведь попробовал втиснуть свою голову между ними.

– Осторожней! – крикнул Фрейд, и они рассыпались в стороны. – Он думает, мы что-то едим, – сказал Фрейд отцу и матери. – Осторожней целуйтесь при нем: он не понимает поцелуев. Он думает, что таким образом *едят*.

– Эрл! – сказал медведь.

– И пожалуйста, ради меня, – сказал Фрейд, – назовите его Эрл: это все, что он может говорить, а Штат Мэн – такое дурацкое имя.

– Эрл? – переспросила мать.

– Эрл! – сказал медведь.

- Хорошо, – сказал отец. – Пусть будет Эрл.
- До свиданья, Эрл, – сказал Фрейд. – *Auf Wiedersehen!*

Они долго наблюдали за Фрейдом, как он на причале на мысу ждал лодку, идущую в Бутбей, а когда рыбак наконец взял его, то, хотя мои родители и знали, что в Бутбее Фрейд переседет на большой пароход, они думали о том, как бы это *выглядело*, если бы рыбацкая лодка повезла Фрейда до самой Европы, через весь этот темный океан. Они наблюдали, как лодка поднималась и опускалась на волнах, до тех пор пока она не стала размером с зернышко или даже с песчинку, а потом совсем исчезла из глаз.

- В эту ночь вы впервые делали это? – всегда спрашивала Фрэнни.
- Фрэнни! – говорила мать.
- Ну, вы же говорили, что вы уже *чувствовали* себя поженившимися, – настаивала Фрэнни.
- Не имеет значения, когда мы это сделали, – говорил отец.
- Но вы *сделали*, правда? – не унималась Фрэнни.
- Это не важно, – встревал Фрэнк.
- Не играет роли *когда*, – в своей странной манере заявляла Лилли.

И это правильно: «когда» не играет никакой роли. Когда у них за плечами было лето 1939 года и «Арбутнот-что-на-море», мои мать и отец были влюблены и мысленно считали себя уже женатыми. В конце концов, они это обещали Фрейду. У них были его «индиан» 1937 года выпуска и его медведь, которого теперь звали Эрл, и когда они прибыли домой в Дейри, штат Нью-Гэмпшир, то сначала поехали к дому семейства Бейтс.

- Мэри вернулась! – воскликнула мать моей матери.
- На какой это *машине* она вернулась? – поинтересовался Латин Эмеритус. – Кто там с ней?
- Это мотоцикл, а это – Вин Берри! – пояснила мать моей матери.
- Да нет, нет же! – возмутился Латин Эмеритус. – Кто там *еще* с ними?
- Старик пристально всматривался в сгорбленную фигуру в коляске.
- Это, должно быть, тренер Боб, – сказала мать моей матери.
- Этот идиот! – воскликнул Латин Эмеритус. – Во что он вырядился по такой погоде? Они что, там, в Айове, не знают, как одеваться?
- Я выхожу замуж за Вина Берри, – объявила мать своим родителям, ворвавшись в комнату. – Это его мотоцикл. Он пойдет учиться в Гарвард. А это... это Эрл.

* * *

Тренер Боб проявил больше понимания. Ему понравился Эрл.

– Мне бы очень интересно было узнать, сколько раз он сумеет отжаться, – заявил бывший лайнмен из «Большой десятки». – Но нельзя ли постричь ему когти?

Глупо было устраивать еще одну свадьбу; мой отец считал, что службы, совершенной Фрейдом, было вполне достаточно. Но семья матери настаивала на том, чтобы их обвенчал конгрегационалистский священник, который приглашал Мэри на ее выпускной танец; так и поступили.

Это была небольшая неформальная свадьба, на которой тренер Боб выступал шафером, а Латин Эмеритус, отдавая свою дочку замуж, лишь изредка переходил на неразборчивую латынь; мать моей матери плакала, вполне отдавая себе отчет, что Вин Берри – не тот студент Гарварда, коему в ее мечтах суждено было увлечь Мэри Бейтс обратно в Бостон, по крайней мере не сейчас. Эрл всю процедуру просидел в коляске «индиана» 1937 года выпуска, умиротворенный крекерами и копченой селедкой.

Мои мать и отец самостоятельно провели краткий медовый месяц.

– Тогда-то вы уж точно делали это! – всегда восклицала Фрэнни.

Но возможно, что этого и не было; они нигде не останавливались на ночь. Они уехали на раннем поезде в Бостон и побродили по Кембриджу, представляя себе, что в один прекрасный день будут здесь жить, а отец будет учиться в Гарварде; они поехали обратно самым ранним поездом и к рассвету следующего дня вернулись в Нью-Гэмпшир. Их первым брачным ложем была односпальная кровать в девичьей комнате моей матери в доме Латина Эмеритуса – там и должна была жить моя мать, пока отец будет зарабатывать на Гарвард.

Тренеру Бобу жаль было расставаться с Эрлом. Боб был уверен, что медведя можно выучить играть в защите, но мой отец объяснил Айове Бобу, что медведь должен стать для их семьи хлебом насущным и обеспечить его образование. И вот в один прекрасный вечер (после того, как нацисты захватили Польшу) моя мать на прощанье поцеловала отца на гимнастическом поле школы Дейри, которое тянулось как раз до заднего крыльца дома Айовы Боба.

– Заботься о своих родителях, – сказал отец моей матери, – а я вернусь и позабочусь о тебе.

– Фу! – по каким-то своим соображениям всегда произносила Фрэнни; эта часть чем-то раздражала ее. Она никогда во все это не верила.

Лилли тоже передергивало, и она отворачивала свой нос.

– Угомнитесь и слушайте историю, – всегда говорил Фрэнк.

Я, по крайней мере, смотрю на это несколько иначе, чем мои братья и сестры. Я просто вижу, как мои отец и мать должны были поцеловаться: *осторожно*, – тренер Боб в это время занимал Эрла какой-нибудь игрой, чтобы тот не подумал, будто мои мать и отец едят что-то такое, чем не хотят поделиться с ним. Поцелуи в присутствии Эрла всегда были рискованным занятием.

По словам матери, она знала, что отец будет ей верен, так как Эрл задавил бы его, если бы он кого-нибудь поцеловал.

– И ты был верен? – спрашивала Фрэнни отца в своей ужасной манере.

– Ну конечно, – отвечал отец.

– Будь спок, – говорила Фрэнни.

Лилли при этом выглядела встревоженной, а Фрэнк отворачивался.

Это была осень 1939 года. Хотя моя мать этого еще и не знала, она была уже беременна Фрэнком. Отец кочевал на мотоцикле вдоль Восточного побережья, изучая на практике курортные отели – звуки оркестров, толпы у казино и залов бинго, – и, по мере того как осень сменялась зимой, путь его пролегал все дальше и дальше на юг. Весной 1940 года, когда родился Фрэнк, он был в Техасе; отец и Эрл тогда гастролировали вместе с труппой под названием «Духовой оркестр Одиноким Звездам». Медведи в Техасе были популярны, впрочем один пьяный в Форт-Уорте попытался угнать «индиана» 1937 года выпуска, не зная, что к нему прикован спящий Эрл. Техасский суд принудил отца в качестве штрафа оплатить госпитализацию неудачливого похитителя, и еще какую-то сумму из заработанных денег он потратил на то, чтобы проехать по всему Восточному побережью и поприветствовать в этом мире своего первого ребенка.

Когда отец вернулся в Дейри, мать была еще в больнице. Они называли Фрэнка Фрэнком – «откровенным», потому что, как сказал отец, они всегда будут друг с другом и со всей семьей «откровенными».

– Фу! – обычно говорила Фрэнни.

Но Фрэнк был очень горд происхождением своего имени.

Отец остался с матерью в Дейри на время, достаточное лишь для того, чтобы она опять забеременела. Затем они с Эрлом ударили по побережью Виргинии и Калифорнии. Четвертого июля они были высланы из Фалмута, мыс Кейп-Код, и вскоре после этого недоразумения вернулись к матери в Дейри, чтобы восстановить силы. «Индиан» 1937 года выпуска сломался как

раз в тот момент, когда в Фалмуте проводился парад в честь Дня независимости; пожарный с залива Баззардс попробовал помочь отцу с починкой мотоцикла, тут-то Эрл вдруг и рассвирепел. Дело в том, что, к несчастью, пожарного сопровождали два далматина – собаки, отнюдь не славящиеся понятливостью; не стремясь исправить эту свою репутацию, далматины атаковали сидящего в коляске Эрла. Одного из них Эрл аккуратно обезглавил, а второго погнал в сторону марширующей по улице Остревилльской футбольной команды, среди которой глупая собака попыталась укрыться. Парад разбежался, убитый горем пожарный отказал отцу во всякой помощи в починке мотоцикла, а шериф Фалмута выпроводил отца и Эрла за пределы города. Так как Эрл не желал ехать в машине, эскорт оказался довольно утомительным: Эрл сидел в коляске мотоцикла, который везли на буксире. Пять дней ушло на то, чтобы найти запасные детали для двигателя.

Хуже того, у Эрла появился вкус к собакам. Тренер Боб пытался отвести его от этой пагубной привычки, обучая его другим видам спорта: подносить мяч, исполнять кувырок, даже приседать, – но Эрл был уже стар и при этом лишен той благословенной веры в физические упражнения, которая была у Айовы Боба. Чтобы убивать собак, даже бегать особо не требуется, уяснил Эрл. Если схитрить, а Эрл хитрить умел, собаки сами подходили напрямик к нему.

– А потом все кончено, – замечал тренер Боб. – Каким бы он был лайнбекером!⁴

Таким образом, большую часть времени отец держал Эрла на цепи и пытался заставить его носить намордник. Мать сказала, что Эрл был в депрессии; она нашла старого медведя ужасно погрустневшим. Но отец сказал, что никакая это не депрессия.

– Он просто думает о собаках, – сказал отец. – И он вполне счастлив, что привязан к мотоциклу.

* * *

Лето 1940 года отец провел в доме Бейтсов в Дейри, по вечерам развлекал публику в Хэмптон-Бич. Он умудрился обучить Эрла новому номеру. Тот назывался «Прием на работу» и позволял сэкономить на покрывах и запчастях для «индиана».

Отец и Эрл выступали на открытой сцене в Хэмптон-Бич. Когда включали огни, Эрл сидел на стуле в человеческом костюме; костюм, радикально перешитый, когда-то принадлежал тренеру Бобу. После того как замирал смех, мой отец появлялся на сцене с бумагой в руке.

– Ваше имя? – спрашивал отец.

– Эрл, – отвечал Эрл.

– Так, понятно, Эрл, – говорил мой отец. – И вы хотите получить работу, Эрл?

– Эрл, – отвечал Эрл.

– Да, я понял, что вас зовут Эрл, но вы хотите получить работу, так? – говорил отец. – Тут вот написано: вы мало того что не умеете печатать на машинке, да и читать тоже, так у вас еще и с алкоголем проблемы.

– Эрл, – соглашался Эрл.

Из толпы иногда бросали фрукты, но отец хорошо кормил Эрла: это была совсем не та публика, которую он помнил по «Арбутноту».

– Ну, если все, что вы можете сказать, – это собственное имя, – говорил отец, – то осмелюсь предположить, что вы или напивались нынче вечером, или настолько глупы, что даже одежду сами снять не сможете.

На это Эрл ничего не отвечал.

⁴ Одна из позиций в американском футболе.

– Ну? – просил отец. – Давайте посмотрим, сможете ли вы это сделать. Раздевайтесь! Давайте! – И отец выдергивал из-под Эрла стул, а тот делал один или два переворота, которым его научил тренер Боб.

– Так вы умеете делать сальто-мортале, – говорил отец. – Здорово. Одежду, Эрл. Давайте посмотрим, как вы снимаете одежду.

Как-то глупо это со стороны людей: смотреть, как раздевается медведь. Моя мать ненавидела этот номер, она считала, что несправедливо по отношению к медведю заставлять его раздеваться перед шумной грубой толпой. Когда Эрл раздевался, отец обычно помогал ему снять галстук; без посторонней помощи Эрл быстро раздражался и срывал его со своей шеи.

– Да уж, Эрл, не бережете вы свои галстуки, – говорил тогда отец.

Публике в Хэмптон-Бич это очень нравилось.

Когда Эрл раздевался, отец говорил:

– Ну, давайте дальше, не останавливайтесь на достигнутом. Снимайте свой медвежий наряд.

– Эрл? – удивлялся Эрл.

– Снимайте свой медвежий костюм, – говорил отец и легонько, чуть-чуть, дергал его за мех.

– Эрл! – рычал Эрл, и публика встревоженно визжала.

– Бог ты мой! Да вы *настоящий* медведь! – восклицал отец.

– Эрл! – взывал медведь и начинал гоняться за отцом вокруг стула; половина аудитории с воплями скрывалась в ночи, некоторые из них опрометью бежали по мягкому прибрежному песку к воде, кое-кто по дороге ронял фрукты и мягкие стаканчики с теплым пивом.

Более деликатное (по отношению к Эрлу) представление проводилось раз в неделю в хэмптон-бичском казино. Мать облагородила Эрлову плясовую манеру и, как только оркестр начинал играть, выходила с Эрлом в центр танцзала. Вокруг собиралась толпа игроков и диву давалась: низкий, коренастый медведь в костюме Айовы Боба на удивление грациозно скользил на задних лапах за моей матерью, которая вела в танце.

В такие вечера тренер Боб исполнял роль няньки. Мать, отец и Эрл ехали домой по прибрежной дороге, останавливаясь, чтобы посмотреть на прибой у мыса Рай, где располагались дома богачей; на мысу приливные волны красиво называли «бурунами». Морской берег в Нью-Гэмпшире был более обжитым и более загаженным, чем в Мэне, но райские фосфоресцирующие буруны, должно быть, напоминали моим родителям вечера в «Арбутноте». Они говорили, что всегда останавливались там по дороге домой в Дейри.

Однажды вечером Эрл не захотел уходить от бурунов.

– Он думает, что я взял его на рыбалку, – сказал отец. – Смотри, Эрл, у меня ничего нет, ни наживки, ни блесен, ни *удочки*, дурачок.

Отец говорил с медведем, протягивая к нему пустые руки. Эрл смущенно уставился на него; они поняли, что медведь почти слеп. Они отговорили медведя от рыбалки и увезли его домой.

– Как получилось, что он так состарился? – спрашивала мать отца.

– Он начал писаться в коляске, – заметил отец.

* * *

Когда отец уехал на зимний сезон осенью 1940 года, моя мать определенно была беременна, на этот раз Фрэнни. Он решил отправиться во Флориду, и мать впервые получила весточку от него из Клируотера, а затем из Тарпон-Спрингса. Эрл подхватил странную кожную болезнь, ушную инфекцию, какой-то грибок, встречающийся только у медведей, и дела шли плохо.

Это было незадолго до того, как в конце зимы 1941 года родилась Фрэнни. На ее рождение отец не приехал, и Фрэнни никак не может ему этого простить.

– Наверно, он знал, что это будет девочка, – любит говорить Фрэнни.

Отец вернулся обратно в Дейри не раньше лета 1941 года и сразу же сделал мать опять беременной, на этот раз мной.

Он пообещал, что больше не оставит ее: он заработал достаточно денег во время успешного циркового турне в Майами, чтобы осенью начать свою учебу в Гарварде. Они могли позволить себе спокойное лето и выступали в Хэмптон-Бич только тогда, когда было желание, – пока не нашлось дешевое жилье в Кембридже. Он купил себе сезонный билет на бостонский поезд, чтобы ездить на занятия.

Эрл старел с каждой минутой. Каждый день ему надо было смазывать глаза бледно-голубым бальзамом, напоминающим медузью слизь; Эрл вытирал его о мебель. Моя мать с тревогой заметила, что медведь ощутимо полысел и как-то усох.

– Он потерял мышечный тонус, – беспокоился тренер Боб. – Ему надо поднимать тяжести или бегать.

– Просто попробуй уехать от него на «индиане», – предложил мой отец своему. – Побегит как миленький.

Но когда тренер Боб взобрался на мотоцикл и ударил по газам, Эрл никуда не побежал. Ему было все равно.

– Фамильярность, – сказал отец, – действительно порождает неуважение.

Он достаточно долго и много проработал с Эрлом, чтобы понять раздражение, которое медведь вызывал у Фрейда.

Мои мать и отец редко говорили о Фрейде; легко было представить, что могло случиться с ним во время «войны в Европе».

* * *

В винных магазинах на Гарвардской площади торговали вильсоновским виски «Это все» по дешевке, но мой отец не был любителем выпить. В «Оксфордских грилях» Кембриджа разливали пиво в стеклянные емкости в форме коньячного бокала, которые вмещали целый галлон. Если ты справлялся с первой порцией достаточно быстро, то вторую такую же тебе давали бесплатно. Но мой отец выпивал там по окончании недельных занятий обычную кружку пива и спешил на Северный вокзал, чтобы успеть на поезд в Дейри.

Он старался ускорить свой курс как только мог, чтобы поскорее закончить учебу; он мог это сделать не потому, что был круче других гарвардских парней (он был старше, а не круче большинства из них), а потому, что проводил мало времени с друзьями. У него была беременная жена и двое детей, и у него вряд ли оставалось время на друзей. Его единственным развлечением, как он говорил, было слушать по радио репортажи о бейсбольных матчах высшей лиги. Как раз через несколько месяцев после окончания первенства страны мой отец услышал по радио новости про Пёрл-Харбор.

Я родился в марте 1942 года и был назван Джоном, в честь Джона Гарварда. (Фрэнни была названа Фрэнни, чтобы составить компанию Фрэнку.) Моя мать была занята не только нами: она ухаживала за старым Латином Эмеритусом и к тому же помогала тренеру Бобу возиться с состарившимся Эрлом; у нее тоже не было времени на подружек.

К концу лета 1942 года война уже по-настоящему затронула всех и перестала быть «войной в Европе». И хотя «индиан» 1937 года выпуска расходовал очень мало бензина, он перешел в статус Эрлова жилища и для передвижения больше не использовался. Все студенческие общежития страны охватила патриотическая лихорадка. Студенты получали талоны на сахар, которые большинство из них отправляло своим семьям. В течение трех месяцев все гарвард-

ские знакомые моего отца были призваны на воинскую службу или добровольно вызвались участвовать в той или иной оборонной программе. Когда умер Латин Эмеритус, а вскоре во сне за ним последовала и мать моей матери, моя мать получила скромное наследство. Отец не стал дожидаться повестки, сам отправился на призывной участок и весной 1943 года отбыл в лагерь начальной подготовки; ему было двадцать три.

Он оставил Фрэнка, Фрэнни и меня с матерью в доме Бейтсов; он оставил своего отца, Айову Боба, которому доверил нежную заботу об Эрле.

Мой отец писал домой, что его начальная военная подготовка свелась к обучению тому, как легко и быстро привести в nepотpeбный вид отель в Атлантик-Сити. Они ежедневно драили деревянные полы и строевым шагом направлялись вдоль променада на стрельбище в дюны. Местные бары делали баснословные прибыли на курсантах, не считая моего отца. Никто не интересовался возрастом, большинство курсантов были моложе отца и вывешивали на грудь все свои значки за меткую стрельбу. Бары ломились от конторских девочек из Вашингтона, и все курили сигареты без фильтра, кроме моего отца.

Отец говорил, что все романтизировали «последний загул» перед отправкой за море, но больше бахвалились этим, чем представляли, что это такое; мой отец, по крайней мере, действительно пережил это – с моей матерью в отеле «Нью-Джерси». К счастью, на этот раз он не оставил ее беременной, так что пока у матери прибавки ко мне, Фрэнку и Фрэнни не предвиделось.

Из Атлантик-Сити мой отец был направлен в бывшую подготовительную школу к северу от Нью-Йорка для обучения на шифровальщика. Затем его послали в Ченьют-Филд (Кернс, штат Юта), а затем в Саванну, штат Джорджия, где он когда-то выступал с Эрлом в старом отеле «Десото». Затем был Хэмптон-Роудс, порт погрузки, и мой отец отправился на «войну в Европе» со смутной надеждой, что там он может встретить Фрейда. Отец был уверен, что, оставив моей матери трех отпрысков, тем самым обеспечил себе благополучное возвращение.

Он был приписан к военно-воздушным силам, на базу бомбардировщиков в Италии, где самой большой опасностью было подстрелить кого-нибудь, когда пьян, быть подстреленным кем-нибудь, кто пьян, или упасть в нужник, когда пьян, что и случилось с одним полковником, которого отец знал лично; прежде чем полковника вытащили, на него успели несколько раз испражниться. Помимо этого была лишь одна опасность – подцепить венерическое заболевание от итальянской шлюхи. А так как мой отец не пил и не гулял, то он вполне безопасно пережил Вторую мировую войну.

Он покинул Италию, перекочевав на военном транспорте через Тринидад в Бразилию – «которая как Италия в Португалии», писал он моей матери. Он прилетел обратно в Штаты с контуженным пилотом, который пронесся на своем С-47 над самой широкой улицей Майами. С воздуха мой отец узнал автостоянку, на которой Эрла когда-то стошнило после очередного выступления.

Вклад моей матери в военные усилия – хотя она выполняла работу секретаря в своей альма-матер, Томпсоновской семинарии для девиц, – заключался в медицинской подготовке: она окончила учрежденные годом раньше курсы медсестер при больнице Дейри. Она работала там одну восьмичасовую смену в неделю, а иногда ее вызывали на подмены, что случалось довольно часто (медицинских сестер ужасно не хватало). Ее любимыми местами там были родовое отделение и зал приема родов; она прекрасно знала, каково это – рожать в больнице, когда рядом нет мужа. Вот так моя мать провела войну.

Сразу после войны отец свозил тренера Боба посмотреть футбольный матч в бостонском парке Фенвей. Возвращаясь на Северный вокзал, чтобы ехать домой, они встретили одного из гарвардских приятелей отца, который продал им «шевроле»-седан 1940 года выпуска за шестьсот долларов – чуть дороже, чем тот стоил новый, но машина была в хорошем состоянии, а бензин тогда был удивительно дешев, может быть двадцать центов за галлон; тренер Боб

и мой отец поделили стоимость страховки пополам, и, таким образом, в нашей семье появилась машина. Пока отец заканчивал свою учебу в Гарварде, у матери появилась идея свозить Фрэнка, Фрэнни и меня на пляж на побережье Нью-Гэмпшира. Айова Боб возил нас однажды в Белые горы, где Фрэнка покусали осы, когда Фрэнни толкнула его прямо на их гнездо.

Жизнь в Гарварде изменилась, аудитории были переполнены; «малиновые» набрали новую команду. Студенты-слависты присваивали себе честь открытия Америкой водки; никто ее ни с чем не мешал – пили по-русски, охлажденной, из маленьких рюмок, – но мой отец не изменял пиву и переквалифицировался на английскую литературу. Таким образом, он снова пытался ускорить окончание учебы.

Биг-бендов в округе было немного. Танцы потеряли прежнее значение, да и Эрл был слишком немощным, чтобы выступать. В первое Рождество после увольнения из военно-воздушных сил мой отец работал в отделе игрушек магазина «Джордан Марш» и опять сделал моей матери ребенка – на этот раз Лилли. Таких же конкретных поводов для того, чтобы назвать Лилли Лилли, как те, по которым Фрэнка называли Фрэнком, Фрэнни – Фрэнни, а меня – Джоном, не было. Собственно, это всю жизнь не давало Лилли покоя, и, может быть, куда сильнее, чем мы подозревали; не исключено, что она даже страдала от этого всю жизнь.

Отец окончил Гарвард в 1946 году. Школу Дейри только что возглавил новый директор, который провел собеседование с моим отцом в Гарвардском факультетском клубе и предложил ему работу: преподавать английский и служить тренером по двум видам спорта, с начальной зарплатой в две тысячи сто долларов. Возможно, эту идею новому директору подал тренер Боб. Моему отцу было двадцать шесть: он принял предложение школы Дейри, хотя вряд ли видел в этом свое призвание. Это просто означало, что он наконец-то сможет жить вместе с моей матерью и нами, детьми, в семейном доме Бейтсов, неподалеку от своего отца и от своего древнего медведя. На этом этапе жизни мечты моего отца были для него намного важнее, чем образование, возможно, более важны, чем мы, дети, и уж определенно важнее, чем Вторая мировая война. («На *каждом* этапе его жизни», – добавила бы Фрэнни.)

Лилли родилась в 1946 году, когда Фрэнку было уже шесть лет, Фрэнни – пять, а мне – четыре. У нас внезапно появился отец, действительно, как впервые в жизни; до сих пор он был на войне, учился, разъезжал с медведем. Он был для нас незнакомцем.

Первое, что он для нас сделал осенью 1946 года, так это взял нас в штат Мэн, где мы никогда раньше не бывали, посетить «Арбутнот-что-на-море». Конечно, это было романтическое паломничество для моего отца и матери: путешествие в прошлые времена. Лилли была слишком мала для такой дальней поездки, а Эрл слишком стар, но отец настоял на том, чтобы Эрл поехал с нами.

– Господи! Ведь «Арбутнот» – это и его место тоже, – сказал отец матери. – «Арбутнот» без Штата Мэн – это совсем не то же самое!

Итак, Лилли была оставлена с тренером Бобом, мать вела «шевроле» 1940 года, с Фрэнком, Фрэнни и мной, горой одеял и большой корзиной съестного. Отец запустил «индиан» 1937 года и усадил Эрла в коляску. Вот так мы и путешествовали, невероятно медленно, по извилистому шоссе, за много лет до того, как там проложили Мэнскую магистраль. Потребовалось несколько часов, чтобы добраться до Брансуика, еще час, чтобы миновать Бат. И вот мы увидели бурные сине-фиолетовые воды Кеннебека, впадающего в море, форт Пофан, и рыбацьи хижины на мысу, и цепь, натянутую поперек дороги, ведущей в «Арбутнот». Вывеска гласила:

ЗАКРЫТО ДО НАЧАЛА СЕЗОНА!

«Арбутнот» был закрыт уже много сезонов. Отец, должно быть, понял это очень скоро после того, как поднял цепь, и наш караван начал двигаться к старому отелю. Побелка выцвела и приобрела мертвенно-грязноватый оттенок, здания стояли покинутыми и заколоченными; все окна, не забранные досками, были выбиты камнями или пулями. Поблекший флаг восем-

надцатой лунки был воткнут между половицами танцевальной террасы; он безвольно обвис, как будто свидетельствуя: замок Арбутнота был взят штурмом.

– Боже мой, – сказал отец.

Мы, дети, сгрудились вокруг матери и начали хныкать. Было холодно, туманно; само место пугало нас. Нам говорили, что мы поедем в курортный отель, и если это и есть то, что называется отелем, то нам здесь определенно не нравилось. Густые пучки травы пробивались сквозь глинистые трещины на теннисном корте, а лужайка для крокета была вся покрыта дохлыми отцу до колен остролистыми болотными травами, что так буйно растут у соленой воды. Фрэнк порезался о старые ворота и распустил сопли. Фрэнни требовала, чтобы отец взял ее на руки. Я вцепился в мамину юбку. Эрл, которого ужасно мучил артрит, отказался вылезать из мотоцикла и начал срывать намордник. Когда отец снял с него намордник, Эрл нашел что-то в грязи и попытался съесть; это был старый теннисный мячик, который отец отобрал у него и забросил далеко, в сторону моря. Эрл решил, что с ним играют, и побежал догонять мячик; затем старый медведь, кажется, забыл, что он делает, и просто сел, уставившись на причалы. Возможно, он их почти не видел.

Гостиничная пристань просела. Лодочную станцию смыло бурей во время войны. Рыбаки попытались по-своему использовать бесхозные пирсы – оборудовали там заводы вдобавок к тем, на мысу, где устанавливали свои верши ловцы омаров и где маячил с ружьем какой-то мужчина или мальчик. Далекая фигура с ружьем встревожила мать. Он поставлен там, чтобы стрелять тюленей, объяснил отец. Именно из-за тюленей рыбалка в мэнских заводах никогда не могла быть особо успешной: тюлени заплывали в заводы, обжирались запертой в ловушку рыбой и отправлялись восвояси. Таким образом, они уничтожали значительную часть улова, а к тому же еще и сети портили. Рыбаки везде, где только возможно, отстреливали тюленей.

– Это как раз то, что Фрейд назвал бы «одним из вопиющих законов природы», – сказал отец.

Он настоял на том, чтобы показать нам общежития, где когда-то останавливались они с матерью.

Они, наверное, очень расстраивались – для нас-то, детей, здесь было просто неуютно и пусто, – но я думаю, что моя мать была больше удручена реакцией отца на падение «Арбутнота», чем переживала сама из-за случившегося с некогда великолепным курортом.

– Война многое изменила, – сказала она, продемонстрировав нам свое знаменитое пожатие плеч.

– Господи Иисусе, – продолжал причитать отец. – Подумай только, чем бы это могло быть! – восклицал он. – Как это можно было – развалить его? Они были недостаточно демократичны, – говорил он нам, расстроенной ребятне. – Можно было придерживаться стандартов, хорошего вкуса и все же не настолько задирать нос. Должен же был быть какой-то компромисс между «Арбутнотом» и дырой наподобие Хэмптон-Бич. Господи Иисусе.

Следуя за ним, мы обходили разбитые здания, изуродованные и дико заросшие лужайки. Мы нашли старый автобус, на котором ездили оркестранты, и грузовик, который использовала бригада, ухаживающая за лужайками; он был полон ржавых клюшек для гольфа. Эти машины чинил и заставлял ездить Фрейд; больше они уже не ездили.

– Господи Иисусе, – повторил отец.

Мы слышали, как откуда-то издалека зовет нас Эрл.

– Эрл! – позвал он.

Мы слышали два ружейных выстрела. Откуда-то издалека, со стороны причалов на мысу. Думаю, мы все поняли, что стреляли не по тюленям. Это был Эрл.

– О нет, Вин! – закричала мать.

Она подхватила меня и побежала; Фрэнк бежал, описывая вокруг нее возбужденные круги. Отец бежал, держа на руках Фрэнни.

– Штат Мэн! – кричал он.

– Я застрелил медведя! – кричал мальчишка на пристани. – Я застрелил целого медведя!

Это был мальчишка в рабочем комбинезоне и фланелевой рубашке; обе его коленки высывались из штанин комбинезона, а морковного цвета волосы стояли дыбом и блестели от брызг соленой воды. У него были очень плохие зубы; ему было тринадцать или четырнадцать лет.

– Я убил медведя! – верещал он.

Он был очень возбужден, и рыбаки в море, наверное, очень удивлялись, с чего это он так кричит. Они не могли слышать его из-за шума моторов и морского ветра и, медленно развернув свои лодки к пристани, всей кучей направились к берегу, чтобы посмотреть, что происходит.

Эрл лежал на причале, взгромоздив свою большую голову на бухту троса; задние лапы он поджал под себя, одна его передняя лапа всего лишь на дюйм не дотянулась до корзины, где лежала рыба для приманки. Глаза медведя были так плохи, что он, наверное, принял мальчика с ружьем за отца с удочкой. Может быть, он даже смутно вспомнил, что съел на этой пристани целую уйму сайды. Бродя по берегу, старый медведь слишком близко подошел к мальчику и своим еще достаточно чутким носом уловил запах приманки. Мальчик, наблюдающий за морем – за тюленями, – несомненно, испугался медвежьего приветствия. Он был хорошим стрелком, но с такого расстояния даже мазила попал бы в Эрла; мальчик дважды выстрелил медведю в сердце.

– Ух ты, я не знал, что он *чей-то*, – сказал моей матери мальчик с ружьем. – Я не знал, что он *домашний*.

– Конечно не знал, – успокоила его моя мать.

– Извините, мистер, – сказал мальчик отцу, но отец его не слышал.

Он сидел рядом с Эрлом на причале, положив его голову к себе на колени. Он прижал старую морду Эрла к животу и плакал, и плакал. Он, конечно, плакал не только об Эрле. Он плакал об «Арбутноте», о Фрейде и о лете 1939 года, но мы были обеспокоены, мы, дети, потому что в то время мы знали Эрла дольше и больше, чем собственного отца. Нам было совершенно неясно, почему человек, вернувшийся из Гарварда, вернувшийся с войны, должен был распустить слезы и обнимать нашего старого медведя. Мы, все мы, были слишком молоды, чтобы по-настоящему знать медведя, но его присутствие, ощущение его густой шерсти, его резкое, гниловатое дыхание, его запах, отдающий мочой и напоминающий запах мертвой герани, были для нас более памятливы, чем, например, тень Латина Эмеритуса и матери моей матери.

Я по-настоящему запомнил тот день у разрушенного «Арбутнота». Мне тогда было четыре года, но я искренне верю, что это были мои первые воспоминания о самой жизни, в противоположность тому, что было, но о чем мне всего лишь рассказывали, в противоположность картинкам, которые для меня рисовали другие люди. Человек с сильным телом и лицом джентльмена – это был мой отец, который приехал, чтобы жить с нами; он сидел на прогнившей пристани, над опасными водами моря и всхлипывал, держа на коленях голову Эрла. Маленькие лодочки приближались все ближе и ближе. Моя мать прижала нас к себе так же крепко, как отец – Эрла.

– Кажись, тупой оболтус подстрелил чью-то псину, – сказал мужчина в одной из лодок.

На причал вскарабкался старый рыбак в грязно-желтой штормовке; из-под его клочковатой грязно-белой бороды проглядывала задубелая, в рытвинах, кожа. Его мокрые сапоги хлоппали, а рыбой он пропах сильнее, чем корзина с приманкой, к которой тянулся Эрл. Рыбак был достаточно стар, чтобы застать золотые денечки «Арбутнота-что-на-море». Да и сам он тоже явно видал лучшие дни.

Разглядев мертвого медведя, рыбак стянул свою широкую зойдвестку лапой тяжелой и корявой, как багор.

– Бог ты мой, – сказал он, благоговейно обхватывая плечи потрясенного мальчика с ружьем. – Бог ты мой. Хана Штату Мэн.

Глава 2

Первый отель «Нью-Гэмпшир»

Первый отель «Нью-Гэмпшир» родился примерно так: когда школа Дейри поняла, что, если не принимать и девочек тоже, школе просто не выжить, Томпсоновская семинария для девиц осталась не у дел. На рынке недвижимости Дейри внезапно появился невостребованный большой кусок – а рынок этот был в постоянной депрессии. Никто не знал, что делать с огромным зданием, бывшим когда-то женской школой.

– Сжечь его, – предложила моя мать, – а на освободившемся месте разбить парк.

Это и было что-то вроде парка: огромный участок земли, может быть около двух акров, в самом центре разрушающегося сердца города Дейри. Старые деревянные домики, когда-то предназначенные для больших семей, а теперь заселенные мирными вдовами и вдовцами и отставными преподавателями, томились среди умирающих вязов, окружавших четырехэтажное каменное чудище – здание школы, названной в честь Этель Томпсон. Мисс Томпсон была епископальным священником, успешно выдавая себя за мужчину до самой своей смерти (преподобный *Эдвард* Томпсон, пастор Дейриского епископального прихода, о котором шла слава, что он прятал у себя дома беглых рабов). Открытие, что это женщина (последовавшее за несчастным случаем, когда она была задавлена, меняя колесо на своей повозке), не стало сюрпризом для некоторых мужчин в Дейри, которые хаживали к ней со своими невзгодами, когда ее слава как приходского пастора достигла высшей точки. И все же каким-то образом она накопила изрядную сумму, из которой ни одного пенни не оставила церкви; она все завещала на создание женской семинарии, «пока, – писала Этель Томпсон, – эта гадкая мужская академия не вынуждена будет принимать девочек».

Мой отец был согласен, что школа Дейри – гадка. И хотя мы, дети, любили играть на спортивных площадках, отец постоянно напоминал нам, что школа Дейри не «настоящая» школа. Ведь на месте города Дейри когда-то были молочные фермы⁵ – ну а спортивные площадки школы были когда-то пастбищами; а когда в начале 1800-х была организована школа, старые коровники рядом с ней разрешили не сносить, а старым коровам позволялось свободно бродить вокруг школьных зданий – как студентам. Современная перепланировка превратила пастбища в спортивные площадки, но коровники, как и первые школьные здания, по-прежнему стояли в самом центре кампуса, а несколько, если можно так выразиться, символических коров все еще занимали места в коровниках. Это была школьная «стратегия игры», как говорил тренер Боб, предусматривавшая, что школьники будут ухаживать за коровами и одновременно посещать школьные занятия; из-за стратегии этой и учеба шла плохо, и коров плохо содержали, и перед Первой мировой войной от нее отказались. Однако в школе Дейри все еще водились преподаватели, которые твердо верили, что эту комбинацию школы и фермы следует вернуть к жизни, – причем многие из них были из числа самых новеньких, самых молодых преподавателей.

Мой отец сопротивлялся плану возвращения школы Дейри к тому, что он называл «экспериментальным образованием в хлеву».

– Когда мои ребята будут достаточно взрослыми, чтобы пойти в эту убогую школу, – в ярости говорил он моей матери и тренеру Бобу, – они, уж конечно, получат академический балл за посадку сада.

– И университетскую благодарность за погрузку навоза! – говорил Айова Боб.

Другими словами, школа находилась в поисках собственной философии. Она теперь твердо считалась второсортной среди подготовительных школ. Хотя она и строила свой курс с

⁵ *Dairy* по-английски означает молочное хозяйство, производство молочных продуктов.

опорой на академические знания, преподавательский корпус все менее и менее был способен преподнести эти знания и соответственно не видел потребности в таком умении, а ученики становились все менее восприимчивы. В школу поступало все меньше народа, а потому и условия поступления упростились; школа стала одним из тех мест, куда можно было немедленно поступить, если тебя вышвырнули из другой школы. Некоторые преподаватели, которые, как мой отец, верили, что людей надо учить чтению, письму и даже правилам пунктуации, считали возню с такими учениками пустой тратой времени и готовы были махнуть на них рукой.

– Бисер перед свиньями, – изрекал мой отец. – Мы с таким же успехом можем учить их косить сено и доить коров.

– Они и в футбол не могут играть тоже, – сокрушался тренер Боб. – Они не хотят *блокировать* друг друга.

– Они не могут даже бегать, – говорил отец.

– Они не могут никого *ударить*, – говорил Айова Боб.

– Еще как могут, – заявил Фрэнк, который всегда встревал в разговор.

– Они залезли в оранжерею и совершили там акт вандализма. Повредили растения... – сказала мать, которая читала об этом инциденте в школьной газете, которую отец называл безграмотной.

– Один из них показал мне свою штучку, – сообщила Фрэнни, которая всегда что-нибудь вставляла нектати.

– Где? – спросил отец.

– За хоккейным полем, – ответила Фрэнни.

– А что ты вообще делала за хоккейным полем? – недовольно, как всегда, поинтересовался Фрэнк.

– Хоккейное поле в полной непригодности, – сказал тренер Боб. – За ним никто не ухаживает с тех пор, как уволился этот человек, не помню как его звали.

– Он не уволился, он *умер*, – сказал отец.

Теперь, когда Айова Боб состарился, отец часто раздражался, беседуя со своим отцом.

В 1950 году Фрэнку было десять, Фрэнни – девять, мне – восемь, а Лилли – четыре; Эгг только что родился и по невинности своей не разделял нашего ужаса при мысли о том, что в один прекрасный день нам придется пойти в эту проклятую школу. Отец считал, что к тому времени, когда Фрэнни настанет пора пойти в школу, туда будут принимать и девочек.

– Не из каких-то там прогрессивных помышлений, – заявлял он, – а просто чтобы избежать банкротства.

Он, конечно, оказался прав. К 1952 году академические стандарты школы Дейри вызывали сомнение; народу поступало все меньше, а с качеством поступающих дело обстояло и того хуже. Чем меньше учеников поступало в школу Дейри, тем выше становилась плата за обучение, что также лишало школу учеников, и в результате учительский штат приходилось сокращать, а некоторые преподаватели – с принципами и каким-либо независимым доходом – сами подавали в отставку.

В 1953 году школьная футбольная команда подошла к концу сезона со счетом 1:9; тренер Боб считал, что школа ждет не дождется, когда он уйдет в отставку, дабы навсегда покончить с футболом; это было слишком накладно, а бывшим питомцам, которые прежде финансово поддерживали футбол, да и всю физкультурную программу школы Дейри, стало стыдно приходить и смотреть на их игру.

– Все это из-за чертовой школьной формы, – заявил Айова Боб; отец закатил глаза и постарался с терпением отнестись к надвигающейся старости Боба.

Отец знал старость по Эрлу. Но, честно говоря, тренер Боб по поводу формы был не совсем не прав.

Цвета школы Дейри были взяты от ныне вымершей породы коров – по замыслу темно-шоколадный и ярко-серебряный. Но с годами, с ростом производства синтетических тканей, это насыщенное какао с серебром стало тусклым и мрачным.

– Цвет глины с облаками, – говорил мой отец.

Учащиеся школы Дейри, которые играли с нами, ребятами, когда не показывали Фрэнни свои штучки, просветили нас, как еще называют цвета, которые были символами школы. Старший ученик по имени Де Мео – Ральф Де Мео, одна из немногих звезд Айовы Боба и звезда весенних и зимних спринтерских забегов у отца, – объяснил Фрэнку, Фрэнни и мне, что в действительности эти цвета значат.

– Серый – все равно что цвет лица покойника, – сказал Де Мео.

Мне было десять, и я его боялся; Фрэнни было одиннадцать, но она вела себя так, как будто была старше его; Фрэнку было двенадцать, и он боялся всех.

– Серый – все равно что цвет лица покойника, – медленно повторил Де Мео для меня. – А коричневый, коровье-коричневый, как цвет испражнений, – сказал он. – Испражнения – это значит говно, Фрэнк.

– Я знаю, – сказал Фрэнк.

– Покажи мне это опять, – сказала Фрэнни Де Мео; она имела в виду его штучку.

Таким образом, смерть и дерьмо были цветами умирающей школы Дейри. Пытаясь преодолеть это проклятие, а заодно и другие, тянущиеся от коровьей истории и не слишком изящной старины Нью-Гэмпшира, правление школы и решило начать принимать женщин в число учащихся.

– Это, по крайней мере, поднимет требования.

– Для футбола это будет конец, – сказал старый тренер Боб.

– Девочки играют в футбол лучше, чем большинство твоих парней, – сказал отец.

– Я это и имел в виду, – подтвердил Айова Боб.

– Ральф Де Мео играет очень хорошо, – заметила Фрэнни.

– Играет *с чем* очень хорошо? – спросил я, и Фрэнни пнула меня под столом.

Фрэнк сидел мрачный; больше любого из нас он находился в опасной близости от Фрэнни и как раз напротив меня.

– У Де Мео, по крайней мере, есть скорость, – сказал отец.

– Де Мео, по крайней мере, умеет бить, – сказал тренер Боб.

– Это уж будь уверен, – сказал Фрэнк.

Фрэнку несколько раз доставалось от Де Мео.

Именно Фрэнни как-то защитила меня от Ральфа. Однажды мы наблюдали, как они красили линии на футбольном поле, – вдвоем с Фрэнни мы прятались от Фрэнка (мы часто прятались от Фрэнка). Де Мео подошел и толкнул меня к бортику. На нем была его футбольная форма: дерьмо-исмерть номер 19 (его возраст). Он снял шлем, выплюнул загубник на гаревую дорожку и блеснул Фрэнни своими зубами.

– Вали отсюда, – сказал он мне. – Мне надо круто побазарить с твоей сестрой.

– Не надо его толкать, – заметила Фрэнни.

– Ей только двенадцать, – сказал я.

– Вали, – сказал Де Мео.

– Не надо его толкать, – сказала Фрэнни Де Мео, – ему всего одиннадцать.

– Я хотел тебе сказать, что очень жалко, – сказал ей Де Мео. – Когда ты сюда поступишь, меня уже здесь не будет. Я уже окончу школу.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросила Фрэнни.

– Они собираются принимать сюда девчонок, – ответил Де Мео.

– Знаю, – сказала Фрэнни. – Ну и что с того?

– Просто жаль, вот и все, – сказал он ей. – Меня здесь не будет, когда ты наконец достаточно подрастешь.

Фрэнни пожала плечами; это было мамино пожатие плечами, независимое и симпатичное. Я поднял с гаревой дорожки загубник Де Мео – скользкий и облепленный песком – и запустил в него.

– А не запихать ли тебе его обратно в рот? – спросил я его.

Я мог быстро бегать, но не думал, что сумею бежать быстрее Де Мео.

– Вали, – сказал он.

Он швырнул загубник мне в голову, но я увернулся. Тот куда-то улетел.

– А что это ты не играешь? – спросила его Фрэнни.

За серым деревянным забором, который окружал «стадион» школы Дейри, начиналось футбольное поле, и оттуда доносился стук наплечников и шлемов.

– У меня в паху травма, – сказал Де Мео Фрэнни. – Хочешь посмотреть?

– Надеюсь, у тебя это отвалится, – сказал я.

– Я ведь могу тебя и поймать, Джонни, – сказал он, продолжая глядеть на Фрэнни.

Никто не называл меня Джонни.

– С твоей травмой тебе меня не поймать, – сказал я.

Я оказался не прав; он нагнал меня на сорокафутовой отметке и ткнул лицом в свежую краску. Он как раз встал коленями мне на спину, когда я услышал, как он резко выдохнул; он свалился с меня и лежал на боку на гаревой дорожке.

– Господи, – сказал он тихим, слабым голосом.

Фрэнни ухватила за жестяную чашечку в его бандаже и резко ее крутанула вокруг его интимных органов, как мы это тогда называли.

После этого мы оба смогли убежать.

– Откуда ты знала? – спросил я ее. – Про эту штуку у него в бандаже? Я хочу сказать, про чашечку?

– Он мне как-то показывал, – мрачно сказала она.

Мы тихо лежали в сосновых иголках глубоко в лесу, который простирался за спортивным полем; мы слышали свистки тренера Боба и столкновения игроков, но были укрыты от них от всех.

Фрэнни никогда не возмущалась, когда Де Мео колотил Фрэнка, и я спросил, почему она вмешалась, когда Ральф попытался намять бока мне.

– Ты не Фрэнк, – свирепо сказала она.

Она намочила юбку в мокрой траве на краю леса и вытерла с моего лица известь, задрав край юбки так, что был виден ее голый живот. К животу у нее прилипли сосновые иголки, и я их стряхнул.

– Спасибо, – сказала она, собираясь стереть с моего лица всю известку до последней капли; она подтянула юбку еще выше, плюнула на нее и продолжила тереть.

Мое лицо начало саднить.

– Почему мы друг друга любим больше, чем Фрэнка? – спросил я ее.

– Просто любим, – сказала она, – и будем любить. А Фрэнк зануда, – сказала она.

– Но он наш брат, – заметил я.

– Ну и что? Ты тоже мой брат, – сказала она. – Я тебя люблю не поэтому.

– А почему? – поинтересовался я.

– Так просто, – сказала она.

Какое-то время мы в лесу боролись, пока Фрэнни не попало что-то в глаз. Я помог ей вынуть соринку. Фрэнни была потной и пахла, как чистая грязь. У нее были очень высокие груди, казалось слишком широко расставленные на грудной клетке. Но Фрэнни была сильной. Обычно она легко могла со мной справиться, если только я не оказывался полностью сверху;

тогда она начинала щекотать меня так, что, если бы я с нее не слез, я мог бы описаться. А когда она оказывалась на мне, то сдвинуть ее уже не было никакой возможности.

– Когда-нибудь я смогу победить тебя, – сказал я ей.

– Ну и что? – ответила она. – К тому времени ты этого уже и не захочешь.

Толстый футболист по имени Пойндекстер вошел в лес, чтобы облегчиться. Заметив его, мы спрятались в папоротниках. Уже годами футбольные игроки гадили в этом лесу, прямо у футбольного поля, – кажется, толстяки особенно. До гимназии бежать было далеко, а тренер Боб начинал отчитывать их за то, что они не опорожнили свои животы перед занятиями. Почему-то толстяки никак не могут опорожнить свои животы до конца, думали мы.

– Это Пойндекстер, – прошептал я.

– Конечно он, – ответила Фрэнни.

Пойндекстер был очень неуклюжим; он всегда с трудом спускал свои тесные штаны. Однажды ему пришлось при этом снять наколенники и всю нижнюю часть формы, кроме носков. На этот раз он выдержал схватку только со штанами и трусами, которые слишком близко стянули его колени – так, что он еле удержался на ногах. Он поддерживал равновесие, слегка наклонившись вперед, положив руки на шлем (который стоял на земле перед ним). На этот раз он запачкал свои футбольные бутсы, и ему пришлось вытирать не только задницу, но и их. В какой-то момент мы с Фрэнни испугались, что он для этой цели воспользуется папоротником, но Пойндекстер всегда спешил, вечно был запыхавшимся, и он, как мог, проделал эту работу с помощью пригоршни кленовых листьев, которые прихватил по дороге и принес с собой в лес. Мы услышали свисток тренера Боба, Пойндекстер тоже его услышал.

Когда он побежал обратно на поле, мы с Фрэнни начали хлопать. Как только Пойндекстер останавливался и прислушивался, мы прекращали хлопать, и бедный толстяк стоял в лесу и удивлялся, что за аплодисменты почудились ему на этот раз; немного постояв, он снова побежал играть дальше, а играл он просто из рук вон – и всегда это сопровождалось какими-нибудь унижениями.

Затем мы с Фрэнни пошли по тропинке, по которой игроки обычно возвращались с футбольного поля. Это была узкая тропинка, вся в отметинах их бутс. Мы слегка беспокоились о том, где сейчас Де Мео, но я подошел к краю футбольного поля и «постоял на стреме», пока Фрэнни стянула трусики и присела на тропинке; потом она постояла на стреме для меня. Мы оба прикрыли наши неприглядные следы небольшими кучками листьев. Затем мы вернулись в папоротники, чтобы подождать, пока закончится тренировка, но там, в папоротниках, уже была Лилли.

– Иди домой, – сказала ей Фрэнни.

Лилли было семь лет. Как правило, она была слишком маленькой для меня и Фрэнни, но дома мы с ней обращались хорошо; друзей у нее не было, и она, похоже, была очарована Фрэнком, который любил с ней нянчиться.

– Незачем мне идти домой, – заявила Лилли.

– Лучше иди, – сказала Фрэнни.

– А почему у тебя такое красное лицо? – спросила меня Лилли.

– Де Мео налил на него яду, – сказала Фрэнни, – и он ищет, кому бы еще натереть.

– Если я пойду домой, то он меня увидит, – серьезно сказала Лилли.

– Если пойдешь прямо сейчас, то не увидит, – сказал я.

– Мы посмотрим для тебя, – сказала Фрэнни и высунулась из папоротников. – Все чисто, – прошептала она.

Лилли убежала домой.

– У меня действительно красное лицо? – спросил я у Фрэнни.

Она подтащила мое лицо поближе к своему и лизнула меня раз по щеке, раз по лбу, раз по носу, раз по губам.

– Я больше ничего не *чувствую*, – сказала она. – Я все стерла.

Мы вместе залегли в папоротниках; это было не скучно, но пришлось подождать, пока закончится урок и первый футболист появится на тропинке. Первый проскочил, и второй проскочил, а вляпался третий – хафбек⁶ из Бостона, который учился в школе Дейри дополнительный год после своего выпуска, главным образом, чтобы чуть повзрослеть, прежде чем он сможет играть в футбол в команде колледжа. Он поскользнулся, но сохранил равновесие, затем увидел этот ужас на своих бутсах.

– Пойндекстер! – завопил он.

Пойндекстер – бегуном он был плохим – трусил в самом конце цепочки игроков, бегущих в душ.

– Пойндекстер! – заорал нападающий из Бостона. – Твое дерьмо, Пойндекстер!

– Что я такого сделал? – спросил Пойндекстер, вечно задыхающийся, толстый («генетически толстый», скажет потом Фрэнни, когда узнает, что такое гены).

– Это ты наделал там, на тропинке, засранец? – спросил Пойндекстера нападающий из Бостона.

– Это не я, – запротестовал Пойндекстер.

– Ну-ка очищай мои бутсы, гаденыш, – велел нападающий.

В такой школе, как Дейри, лайнменами всегда становились слабаки помладше и потолще, зачастую приносимые в жертву ради нескольких *хороших* спортсменов, – тренер Боб доверял вести мяч хорошим.

Несколько крепких игроков Айовы Боба окружили Пойндекстера на дорожке.

– Девчонок здесь пока что нет, Пойндекстер, – сказал нападающий из Бостона, – так что вытирать дерьмо с моих ботинок, кроме тебя, никому.

Пойндекстер сделал то, что ему сказали, – по крайней мере эта работа была ему знакома.

Мы с Фрэнни пошли домой, мимо символических коров в полуобвалившемся школьном сарае, мимо заднего крыльца дома тренера Боба, где для вытирания ног на ступеньке была прибита решетка от «индиана» 1937 года выпуска. Мотоциклетная решетка – это все, что снаружи напоминало об Эрле.

– Когда наступит время нам идти в школу Дейри, – сказал я Фрэнни, – надеюсь, мы будем жить где-нибудь в другом месте.

– Я-то не буду никому вытирать дерьмо с башмаков, – сказала Фрэнни. – Ни в коем случае.

Тренер Боб, который ужинал с нами, сокрушался о своей ужасной команде.

– Вот клянусь вам, это последний год, – говорил старик, но он это говорил всегда. – Сегодня Пойндекстер во время тренировки взял и навалил прямо на тропинку.

– Я видела Фрэнни и Джона без одежды, – сообщила Лилли.

– Не видела, – сказала Фрэнни.

– На тропинке, – настаивала Лилли.

– И что они делали? – спросила мать.

– То, что сказал дед Боб, – объявила всем Лилли.

Фрэнк с возмущением фыркнул, а отец изгнал нас с Фрэнни в наши комнаты.

– Видел? – прошептала уже наверху мне Фрэнни. – Только нас с тобой. Ни Лилли. Ни Фрэнка.

– Ни Эгга, – добавил я.

– Дурачок, Эгг еще никто, – сказала Фрэнни. – Эгг еще не человек.

Эггу было только три года.

– Теперь эти двое ходят за нами следом, – сказала Фрэнни. – Лилли и Фрэнк.

⁶ Одна из позиций в американском футболе, полузащитник.

– Не забывай еще Де Мео, – сказал я.

– Что мне его помнить, – сказала Фрэнни. – У меня будет куча таких Де Мео, когда я вырасту.

Эта мысль встревожила меня, и я замолчал.

– Не беспокойся, – прошептала Фрэнни, но я ничего не ответил.

Она прокралась по холлу в мою комнату и забралась в мою кровать. Мы оставили дверь открытой, чтобы можно было подслушать, о чем говорят за обеденным столом.

– Она для моих детей не подходит, эта школа, – сказал отец. – Точно говорю.

– Ну, – сказала мать, – все твои разговоры только их самих в этом и убедят, и, когда придет время, они побоятся туда идти.

– Когда придет время, – сказал отец, – мы пошлем их куда-нибудь в хорошую школу.

– Мне наплевать на хорошую школу, – сказал Фрэнк.

Я и Фрэнни в этом были с ним заодно: хотя нас воротило от одной только мысли о том, чтобы пойти в Дейри, нам еще меньше улыбалось ехать «куда-нибудь».

– Куда-нибудь – это куда? – спросил Фрэнк.

– А кто куда-то едет? – спросила Лилли.

– Цыц, – сказала мать, – никто никуда не поедет. Мы не можем себе этого позволить. Если и есть польза от твоей работы в школе Дейри, так это то, что можно бесплатно определить детей хоть куда-то.

– Хоть куда-то – это не очень хорошо, – сказал отец.

– Лучше, чем рядовая школа, – сказала мать.

– Слушай, – сказал отец. – Мы заработаем деньги.

Это было для нас новостью; мы с Фрэнни притихли.

Фрэнк, должно быть, тоже занервничал от такой перспективы.

– Не понял, – сказал он.

– Конечно, дорогой, – ответила мать. – А как мы собираемся заработать деньги? – спросила мать отца.

– Ради бога, расскажи мне, – сказал тренер Боб. – Кто-кто, а я в отставку собрался.

– Слушайте, – сказал отец. И мы стали слушать. – Эта школа, может быть, и пустое место, но она будет расширяться; она будет принимать девочек, не забыли? И даже если она не будет расширяться, она не закроется. Она здесь уже слишком давно, чтобы закрыться; у нее единственный инстинкт – выжить, и она выживет. Она никогда не будет хорошей школой; она пройдет через множество этапов, так что со временем мы ее и не узнаем, но работать она будет, уж на это можно рассчитывать.

– Ну и что? – сказал Айова Боб.

– То, что здесь будет школа, – сказал отец. – Частная школа будет по-прежнему здесь работать, в этом убогом городишке, – сказал он, – а вот Томпсоновской семинарии для девиц здесь больше не будет, потому что городские девочки пойдут в Дейри.

– Все об этом знают, – сказала мать.

– Ничего не понимаю, – сказала Лилли.

– Да-да, – сказал отец. – Слушайте, – сказал он матери и Бобу, – вы что, не видите? – (Мы с Фрэнни ничего не видели, кроме Фрэнка, крадущегося по коридору.) – А что станет с этим большим зданием, в котором находится Томпсоновская семинария для девиц? – спросил отец.

Вот тогда мать и предложила ее сжечь. Тренер Боб предложил превратить ее в местную тюрьму.

– Она достаточно большая, – сказал он.

Кто-то еще предложил превратить ее в городское собрание.

– Никому не нужна здесь тюрьма, – сказал отец, – по крайней мере не в центре города.

– Она уже выглядит как тюрьма, – сказала мать.

– Надо только прибавить еще решеток, – сказал Айова Боб.

– Слушайте, – с нетерпением сказал отец. Мы с Фрэнни так оба и замерли; Фрэнк прокрался мимо моей двери, Лилли насвистывала где-то поблизости. – Слушайте, слушайте, – сказал отец. – Что этому городу нужно, так это *отель*.

За обеденным столом установилась тишина. «Отель», как мы знали с Фрэнни, лежа в моей кровати, было то, что отобрало у нас Эрла. Отель – это была большая, пропахшая рыбой развалина, которую охраняет человек с ружьем.

– Почему отель? – наконец спросила мать. – Ты всегда говорил, что это убогий городишко, кто захочет сюда ехать?

– Может быть, и не захотят, – сказал отец, – но придется. Все эти родители детей из школы Дейри, – сказал он, – они же навещают своих детей, так? К вашему сведению, родители становятся все богаче и богаче, потому что образование все дорожает и дорожает, и скоро вообще не будет учащихся-стипендиатов, здесь будут только богатые детки. А если вы сейчас вздумаете навестить своих детей, вам негде будет остановиться в городе. Придется ехать на побережье, где все мотели, или тащиться еще дальше, к горам, ведь негде, совершенно негде остановиться прямо здесь.

Это был план. Пусть школа Дейри и не могла позволить себе достаточного количества привратников, отец почему-то считал, что ей под силу будет поставлять клиентов для единственного в городе Дейри отеля, а что городок-то захолустный и что почему-то никому другому не приходило в голову устраивать здесь место для ночлега – это моего отца не беспокоило. В Нью-Гэмпшир летние туристы едут на побережье, оно было в получасе езды. Горы были в часе езды: туда ехали лыжники, а летом там были озера. Но Дейри стоял на равнине, в глубине страны, но не высоко; Дейри был достаточно близко к морю, чтобы чувствовалась его влажность, но слишком далек, чтобы хоть в какой-то мере насладиться морской свежестью. Живительному морскому и горному воздуху не пробиться было сквозь серый туман, висящий над долиной реки Сквомскотт, а Дейри был одним из городов в долине Сквомскотта – пронизывающая сырость зимой и влажная духота все лето... Не красивые, как с картинки, долины Новой Англии, а мельничный город на загрязненной реке, к тому же мельница теперь смотрелась такой же запущенной и уродливой, как Томпсоновская семинария для девиц. Это был город, все свои надежды возлагавший на школу Дейри, место, куда никто не хотел ехать.

– Однако если здесь будет отель, – сказал отец, – то люди захотят в нем останавливаться.

– Но из Томпсоновской семинарии для девиц получится ужасный отель, – сказала мать, – этот дом может быть только тем, что он есть: старой школой.

– Ты представляешь, как дешево ее можно купить? – сказал отец.

– Ты представляешь, во сколько обойдется ремонт? – сказала мать.

– Что за малахольная идея, – сказал тренер Боб.

Фрэнни начала придавливать мою руку к кровати, это был у нее обычный метод нападения: она зажимала мне руки, а потом возила своим подбородком мне по ребрам, или пихала его мне под мышку, или, бывало, кусала меня за шею (с такой силой, чтобы только заставить меня лежать спокойно). Мы болтали ногами под покрывалом, пытаясь сбросить его, – кто умудрялся при этом запутать ноги другого, у того было исходное преимущество, но тут в своей чудной манере в комнату пришла Лилли, на четвереньках, укрытая простыней.

– Тварь, – сказала ей Фрэнни.

– Извините, что из-за меня вас наказали, – сказала Лилли из-под простыни. Лилли всегда так извинялась за то, что ябедничала на нас: накрывалась с головой и вползала к нам в комнату на четвереньках. – Я вам кое-что принесла, – сказала Лилли.

– Поесть? – спросила Фрэнни.

Я стянул с Лилли простыню, и Фрэнни взяла у нее бумажный пакет, который та притащила в зубах. Там было два банана и два теплых рогалика от ужина.

– А попить ничего нет? – спросила Фрэнни.

Лилли покачала головой.

– Ладно, иди сюда, – сказал я, и Лилли забралась на кровать ко мне и Фрэнни.

– Мы будем жить в отеле, – сказала Лилли.

– Еще точно не решено, – возразила Фрэнни.

Там, внизу, за обеденным столом, похоже, разговаривали еще о чем-то. Тренер Боб сердился на моего отца, опять, похоже, все по той же старой причине: за то, что он никогда не удовлетворен тем, что есть (так говорил Боб), за то, что живет мечтами. За то, что он вечно строит планы на будущий год, а не живет попросту сегодняшним днем, минута за минутой.

– Но он не может по-другому, – говорила моя мать; она всегда защищала моего отца перед тренером Бобом.

– У тебя замечательная жена и замечательная семья, – говорил Айова Боб моему отцу. – У тебя этот большой старый дом – наследственный! Тебе даже платить за него не надо! У тебя есть работа. Ну и что, что ты мало получаешь: зачем тебе деньги? Ты счастливый человек.

– Я не хочу быть учителем, – спокойно сказал отец, а это означало, что он опять сердится. – Я не хочу быть тренером. Я не хочу, чтобы мои дети ходили в такую плохую школу. Это провинциальный городишко и разваливающаяся школа, куда отдают богатеньких детишек с проблемами. Родители послали их сюда, чтобы преодолеть их уже явную извращенность; дикая извращенность детей и дикая провинциальность школы и города. Хуже не бывает – ни города, ни детей.

– Лучше бы ты проводил сейчас больше времени с детьми, – спокойно сказала мать, – и меньше бы беспокоился о том, куда они пойдут через несколько лет.

– Опять будущее! – сказал Айова Боб. – Он живет в будущем! Сначала все эти разъезды – для того, чтобы он мог пойти в Гарвард. Итак, он пошел в Гарвард, потом сделал все, чтобы поскорее его окончить. Для чего? Для того, чтобы получить эту работу, о которой он теперь сокрушается. Почему бы просто не наслаждаться ею?

– Наслаждаться ею? – переспросил отец. – Ты-то ею не наслаждаешься, правда?

Мы хорошо представляли себе, что наш дед, тренер Боб, в ответ на это вспыхнет. Так кончались все его споры с моим отцом, у которого язык был подвешен лучше, чем у Айовы Боба. Когда Боб чувствовал, что ему нечего ответить, но все же он прав, то он вспыхивал. Мы с Фрэнни и Лилли представляли себе, как его лысая шишковатая голова в самом деле начинает медленно тлеть. Это правда, что о школе Дейри мнение у него было не лучше, чем у отца, но Айова Боб, по крайней мере, до конца отдал себя чему-то (так сам он чувствовал) и хотел, чтобы отец больше заботился о том, что он делает сейчас, вместо того чтобы заниматься – как Айова Боб это называл – будущим. В конце концов Айове Бобу надоело копать в этих вещах; он никогда не видел, чтобы мой отец так чем-то загорался.

Его, возможно, огорчало, что отец никогда не увлекался никаким спортом, хотя был крепок и любил физические упражнения. Айова Боб очень любил мою мать; она была у него на глазах все эти годы, пока отец был на войне, в Гарварде, разъезжал с Эрлом. Тренер Боб, возможно, считал, что мой отец недостаточно внимания уделяет своей семье; в последние годы, я знаю, он был уверен, что отец позабыл и Эрла.

– Извините, – услышали мы голос Фрэнка.

Фрэнни обхватила меня за талию, я хотел заставить ее убрать подбородок с моего плеча, но Лилли сидела у меня на голове.

– Что случилось, дорогой? – спросила мать.

– Что там, Фрэнк? – спросил отец.

Судя по резкому скрипу стула, мы поняли, что отец схватил Фрэнка; он всегда пытался как-то расслабить его, начиная с ним возиться, пытаясь втянуть его в какую-то игру, но Фрэнк

на это не поддавался. Мы с Фрэнни любили, когда отец возился с нами, но Фрэнку это совсем не нравилось.

– Извините, – повторил Фрэнк.

– Да уж извинили, извинили, – сказал отец.

– А Фрэнни нет в ее комнате, она на кровати с Джоном, – сказал Фрэнк. – И Лилли с ними. Она им принесла поесть.

Я почувствовал, как Фрэнни соскользнула с меня; она прыгнула с кровати и выбежала из комнаты, и ее фланелевая ночная рубашка надулась, как парус на сквозняке, гулявшем между верхним холлом и лестницей; Лилли схватила свою простыню и спряталась у меня в чулане. Старый дом семейства Бейтс был большим, там имелось множество мест, где можно было спрятаться, но мать все их знала. Я думал, Фрэнни побежит в свою комнату, но сперва услышал, что она начала спускаться по лестнице, а потом – как она заорала.

– Ты ябеда, Фрэнк! – орала она. – Дерьмо! Засранец!

– Фрэнни, – сказала мать.

Я подбежал к лестничному проему и вцепился в стойку перил; лестница была покрыта толстым и мягким ковром, таким же, как и весь дом. Я смог увидеть, как Фрэнни метнулась через столовую к Фрэнку, чтобы схватить его за шею и замком зажать голову. Она быстро повалила его: Фрэнк был медлителен и не слишком ловок, он был неповоротлив, хотя крупнее Фрэнни и намного крупнее меня. Я редко возился с ним, даже играя; Фрэнк не любил возиться и даже в игре мог сделать очень больно. Он был слишком большим и, несмотря на свою нелюбовь к физическим упражнениям, сильным. Он умел заехать в твоё ухо локтем или ударить в нос коленкой, он был из тех драчунов, которые всегда пальцами найдут твой глаз, а головой расплющат тебе губы о твои собственные зубы. Есть люди, настолько неуютно чувствующие себя физически, что их, кажется, начинает трясти от одного соприкосновения с чужим телом. Фрэнк был таким, и я старался с ним не связываться именно поэтому, а не потому, что он был на два года меня старше.

Фрэнни иногда не могла удержаться, чтобы не подразнить его, и это почти всегда кончалось тем, что они делали друг другу больно. Я видел, как она крепко сцепилась с Фрэнком под обеденным столом.

– Вин, останови их, – сказала мать.

Пытаясь достать их и вытащить из-под стола, чтобы разнять, отец ударился головой о столешницу. Тренер Боб полез под стол с другой стороны.

– Мать твою! – сказал отец.

Я почувствовал что-то теплое между моих колен и стойкой перил – это была Лилли, выглядывающая из-под своей простыни.

– Ты крысиная жопа, Фрэнк! – орала Фрэнни.

В этот момент Фрэнк сумел схватить Фрэнни за волосы и ударить головой о ножку стола; затем, хотя у меня грудей нет, я физически почувствовал, как кулак Фрэнка врезался в грудь Фрэнни. Она разжала свой захват, и, пока тренер Боб не сумел облапить своей огромной рукой три их ноги из четырех и вытащить их из-под стола, он успел еще два раза ударить ее головой о ножку, намотав ее волосы себе на кулак. Фрэнни дрыгнула свободной ногой и здорово заехала Бобу в нос, но старый защитник из Айовы выдержал. Фрэнни уже плакала. Несмотря на то что Фрэнк держал ее за волосы, она умудрилась извернуться и укусить его за щеку. Фрэнк схватил в кулак одну из ее грудей и, очевидно, сильно сжал ее, так как Фрэнни, выпустив щеку Фрэнка изо рта, громко всхлипнула. В этом звуке было такое отчаяние и бессилие, что Лилли вместе со своей простыней убежала ко мне в комнату. Отец оторвал руку Фрэнка от груди Фрэнни, а тренер Боб захватил голову девочки в замок, чтобы та больше не смогла укусить брата. Но другая рука Фрэнни была свободна, и этой-то рукой она вцепилась в интимную часть Фрэнка; носи ты защитную чашечку или нет, будешь ты в бандаже или в чем мать родила, но, когда

дело дойдет до драки, Фрэнни сумеет найти твой интимный орган. Фрэнк внезапно дрыгнул всеми своими конечностями и издал такой страдальческий стон, что меня передернуло. Отец наотмашь ударил Фрэнни по лицу, но та не сдавалась; тогда он силой разжал ее пальцы. Тренер Боб оттащил от нее Фрэнка, но она все же успела напоследок нанести ему еще один удар ногой, и отец вынужден был сильно хлестнуть ее по губам. На этом все и кончилось.

Отец сидел на ковре в гостиной, прижав к груди голову плачущей Фрэнни, и баюкал ее.

– Фрэнни, Фрэнни, – тихо говорил он. – Ну почему обязательно всегда надо сделать тебе больно, чтобы остановить?

– Легче дыши, сынок, легче, – говорил тренер Боб Фрэнку, который лежал на боку, поджав к груди ноги, с лицом серым, как один из цветов команды школы Дейри.

Старый Айова Боб знал, как успокаивать тех, кого свалили ударом по яйцам.

– Тошнит, да? – ласково поинтересовался тренер Боб. – Дыши легче и лежи спокойно. Это пройдет.

Мать убрала со стола и подняла упавшие стулья; явное неодобрение, которое вызвала у нее эта семейная вспышка насилия, она выражала принужденным молчанием, горьким, болезненным и полным ужаса.

– Теперь попробуй вздохнуть глубже, – советовал тренер Боб Фрэнку. Фрэнк попробовал и закашлялся. – Ладно-ладно, – сказал Айова Боб. – Еще немножко подыши легонько.

Фрэнк застонал.

Отец осматривал нижнюю губу Фрэнни, а по ее лицу тем временем катились слезы; из ее груди вылетали полузадушенные всхлипы.

– Думаю, тебе надо будет наложить швы, милочка, – сказал отец, но Фрэнни яростно затрясла головой.

Отец крепко сжал ее лицо руками и два раза поцеловал в лоб.

– Извини, Фрэнни, – сказал он, – но что я мог с тобой поделать, что поделать?

– Не хочу швов, – простонала Фрэнни. – Никаких швов. Ни в коем случае.

Но на ее нижней губе была рваная рана, и отцу пришлось подставить ладонь к ее подбородку, чтобы собрать капающую кровь. Мать принесла салфетку, полную льда.

Я вернулся в свою комнату и уговорил Лилли вылезти из чулана; она хотела остаться со мной, и я ей разрешил. Она очень быстро уснула, а я лежал на кровати и думал о том, что каждый раз, как только кто-то скажет слово «отель», появляется кровь и вдруг становится грустно. Отец и мать повезли Фрэнни в медпункт школы Дейри, где ей должны были зашить губу; ни у кого не было и мысли обвинить в чем-то отца, меньше всего у Фрэнни. Фрэнни, конечно, во всем будет винить Фрэнка, я в те дни рассуждал так же. Отец вряд ли станет винить себя в случившемся, по крайней мере если и будет, то недолго, а мать – несколько дольше – будет, невесть почему, во всем винить себя.

Когда мы дрались, отец обычно кричал нам:

– Вы что, не знаете, как это расстраивает меня и мать? Представьте себе, что вы будете постоянно драться, как вы с этим будете жить? Разве мы с мамой деремся? Деремся? Вам бы понравилось, если бы мы дрались?

Нам бы, конечно, не понравилось; и они не дрались и вообще не ссорились, как правило. Был только старый камень преткновения – отцовская манера жить-будущим-а-не-наслаждаться-настоящим, по поводу которой тренер Боб высказывался более резко, чем мать, но мы знали, что она думает то же самое (и что отец ничего с этим поделать не может).

Мы, дети, большого значения этому не придавали. Я повернул Лилли на бок, чтобы спокойно вытянуться на спине, а мои уши не закрывала бы подушка, так что я мог слышать, как Айова Боб успокаивает наверху Фрэнка.

– Спокойней, парень, – говорил Боб, – обопрись на меня. Весь секрет – в дыхании. – Фрэнк пробурчал что-то в ответ, и тренер Боб сказал: – Но нельзя же схватить девчонку за титку и думать, что не получишь в ответ по яйцам, правда?

Но Фрэнк продолжал бормотать о том, как ужасно к нему относится Фрэнни, как она никогда не оставляет его в покое, как настраивает против него других детей, как он старается обойти ее, а она все время оказывается у него на дороге.

– Что бы плохое со мной ни случилось, всегда она замешана! – плакал он. – Ты не знаешь! – хныкал он. – Ты не знаешь, как она меня все время дразнит.

Думаю, я-то знал, и Фрэнк был прав; его недолюбливали, в этом-то и заключалась главная проблема. Фрэнни и впрямь обращалась с ним ужасно, хотя сама по себе ужасной вовсе не была; а Фрэнк ни с кем из нас не обращался по-настоящему ужасно, разве что сам по себе был в чем-то ужасен. Я услышал, как в холле засопел Эгг, и задумался о том, как будет выкручиваться тренер Боб, если Эгг сейчас проснется и начнет плакать и требовать мать. А Боб был по горло занят в ванной Фрэнком.

– Ну, давай, – говорил Боб. – Дай мне посмотреть, как ты это сделаешь.

Фрэнк всхлипывал.

– Ну вот! – воскликнул Айова Боб. – Видишь? Никакой крови, только моча. Все хорошо, парень.

– Ты не знаешь, – продолжал ныть Фрэнк. – Ты не знаешь.

Я пошел посмотреть, чего там хочет Эгг; ему было три года, и я подумал, что он потребует чего-нибудь невозможного, но когда я зашел в его комнату, то, к моему удивлению, обнаружил его в веселом расположении духа. Он явно удивился, увидев меня, и, когда я положил обратно в его кроватку мягкие игрушки, разбросанные по всей комнате, он начал каждой из них представлять меня: потрепанной белке, на которую его не единожды тошнило, потертому одноухому слону, оранжевому гиппопотаму. Когда я собрался уходить, он очень расстроился, поэтому я взял его к себе в комнату и положил на кровать рядом с Лилли. Затем я отнес Лилли обратно к себе, хотя для меня нести ее было далековато, и по дороге она проснулась и стала капризничать, пока я не положил ее в ее собственную постель.

– Никогда не даешь мне остаться у тебя в комнате, – сказала она и тут же снова заснула.

Я вернулся в свою комнату и лег на кровать вместе с Эггом – у того сна не было ни в одном глазу, и он лепетал всякую ерунду. Впрочем, он был доволен, а я расслышал, как внизу разговаривает тренер Боб; сначала я думал, что он разговаривает с Фрэнком, но потом понял, что это он беседует с нашим старым псом Грустцом. Фрэнк, должно быть, пошел спать или, по крайней мере, ушел дуться.

– От тебя воняет хуже, чем от Эрла, – говорил Айова Боб псу.

И действительно, от Грустца ужасно пахло; он не только постоянно портил воздух, но и запах у него был такой, что можно было по неосторожности задохнуться, и старый черный лабрадор казался мне омерзительней, чем смутные воспоминания о запахе Эрла.

– Ну что нам с тобой делать? – бормотал Боб псу, который обожал лежать под обеденным столом и пердеть весь обед.

Айова Боб открыл внизу окна.

– Иди-ка сюда, мальчик мой, – позвал он Грустца. – Господи... – пробормотал он.

Я услышал, как открылась входная дверь, – очевидно, тренер Боб выпустил пса на улицу.

Я лежал на кровати и не спал, Эгг ползал по мне, а я ждал, когда вернется Фрэнни; я знал, что, если я к тому времени не засну, она обязательно придет ко мне и покажет свои швы. Когда Эгг в конце концов уснул, я отнес его в спальню к его игрушкам.

Грустец был еще на улице, когда мать и отец привезли обратно Фрэнни; если бы не собачий лай, я бы и не заметил их приезда.

– Ну что, выглядит просто замечательно, – говорил тренер Боб, очевидно одобряя то, как поработали с губой Фрэнни. – Через некоторое время и шрама никакого не останется.

– Пять штук, – невнятно сказала Фрэнни, как будто ей вшили в рот добавочный язык.

– Пять! – воскликнул Айова Боб. – Ужасно!

– Этот пес опять здесь напердел, – сказал отец; судя по голосу, он был раздражен и устал, как будто они разговаривали, разговаривали, разговаривали все это время с самого момента, как уехали в медпункт.

– Он такой миленький, – сказала Фрэнни, и я услышал, как сильный хвост Грустеца застукал о стул или буфет: тук, тук, тук.

Только Фрэнни могла часами лежать рядом с Грустцом и не обращать внимания на его зловоние. Да, конечно, Фрэнни казалась менее чувствительна к запахам, чем кто-либо из нас. Она никогда не отказывалась поменять пеленки Эггу или даже Лилли, когда мы все были намного младше. И когда у Грустеца под старость случались ночные неприятности, Фрэнни никогда не смотрела на собачье дерьмо как на что-то отвратительное; у нее было странное любопытство к подобным вещам. Она могла дольше всех нас обходиться без мытья.

Я слышал, как все взрослые поцеловали Фрэнни, пожелав ей спокойной ночи, и подумал: вот такими и должны быть семьи – поссорились, а через минуту помирились и простили друг друга. Фрэнни, как я и думал, пришла ко мне в комнату и показала свою губу. Швы были жесткими, блестящими и черными, как волосы на лобке; у Фрэнни были волосы на лобке, у меня нет. У Фрэнка были, но ему это не нравилось.

– Знаешь, на что похожи твои швы? – спросил я ее.

– Знаю, – ответила она.

– Он очень больно тебе сделал? – спросил я, и она пригнулась к моей кровати, чтобы я мог потрогать ее грудь.

– Он за другую схватил, дурачок, – сказала она и отодвинулась.

– Ты здорово разделала Фрэнка, – сказал я.

– Знаю, – сказала она. – Спокойной ночи. – Уходя, она снова заглянула ко мне в дверь. – Мы переедем жить в отель, – сказала она.

После этого я услышал, как она пошла в комнату Фрэнка.

– Хочешь посмотреть на мои швы? – прошептала она.

– Конечно, – ответил Фрэнк.

– Знаешь, на что они похожи? – спросила его Фрэнни.

– Грубые какие... – сказал Фрэнк.

– Да, но ты знаешь, на что они похожи, правда? – настаивала Фрэнни.

– Да, знаю, – сказал он, – и такие грубые...

– Извини меня за яйца, Фрэнк, – сказала ему Фрэнни.

– Понятно, – сказал он, – с ними все в порядке. Извини за... – начал Фрэнк, но он никогда в жизни не сказал бы слова «грудь», а тем более «титка». Фрэнни ждала, я тоже ждал. – Извини... ну, за все...

– Да, конечно, – сказала Фрэнни. – Меня тоже.

Затем я слышал, как она пошла к Лилли, но та спала без задних ног.

– Хочешь посмотреть на мои швы? – прошептала Фрэнни. Затем через некоторое время я услышал: – Ну, сладких тебе снов, девчушка.

Эггу показывать швы не было, конечно, никакого смысла. Он решил, что это остатки чего-то, что Фрэнни только что ела.

– Хочешь, отвезу домой? – спросил отец своего отца, но старый Айова Боб сказал, что ему моцион только в радость.

– Думай себе, что это захолустный городок, – сказал Боб, – но, по крайней мере, тут можно безопасно гулять по ночам.

Затем я услышал еще кое-что, и по этим словам я понял, что мои родители остались наедине.

– Я люблю тебя, – сказал мой отец.

А моя мать сказала:

– Я знаю. И я люблю тебя.

И тогда я понял, что она тоже устала.

– Давай прогуляемся, – сказал отец.

– Я не люблю оставлять детей одних, – сказала мать, но это был слабый аргумент.

Я знал, что мы с Фрэнни без труда можем присмотреть за Эггом и Лилли, а Фрэнк вполне может сам позаботиться о себе.

– Это и пятнадцати минут не займет, – сказал отец. – Давай просто дойдем туда и взглянем на нее.

Речь, конечно, шла о Томпсоновской семинарии для девиц, этом суровом здании, которое отец хотел превратить в отель.

– Я там училась, – сказала мать. – Я знаю это здание намного лучше тебя и не хочу на него смотреть.

– Ты всегда любила прогуливаться со мной по ночам, – сказал отец, и по смеху моей матери, лишь самую малость ехидному, я понял, что она опять пожала плечами.

Внизу установилась тишина, я не мог сказать, целуются они там или надевают свои куртки, потому что была поздняя ночь, сырая и холодная. А затем я услышал, как моя мать сказала:

– Ты даже не представляешь, сколько денег надо вбухать в это здание, чтобы оно хотя бы слегка напоминало отель, в котором кто-нибудь захотел бы остановиться.

– Совсем не обязательно, чтобы они *захотели*, – сказал отец. – Вспомни – это будет единственный отель в городе.

– Но откуда ты возьмешь деньги? – сказала мать.

– Пошли, Грустец, – сказал отец, и я понял, что они уже выходят из дому. – Пошли, Грустец, провоняй им весь город, – сказал отец.

Мать рассмеялась.

– Ответь мне, – сказала она, но теперь это прозвучало кокетливо; отец уже убедил ее где-то, когда-то раньше, может быть, пока Фрэнни зашивали губу (я знаю, она перенесла это стойко, без единой слезинки). – Так откуда ты возьмешь деньги? – спросила его мать.

– Ты знаешь, – сказал он и закрыл входную дверь.

Я услышал, как Грустец облаял ночь – все, что в ней таилось, и ничего в частности.

И я знал, что если бы сейчас к крыльцу или решетке старого дома Бейтсов причалил белый ялик, то ни мать, ни отец несколько бы не удивились. Если бы человек в белом смокинге, который когда-то владел экзотическим отелем «Арбутнот-что-у-моря», оказался там и поприветствовал их, они бы не моргнули и глазом. Окажись он там, курящий, загорелый и безукоризненный, и скажи он им: «Добро пожаловать на борт!» – они бы тотчас же отправились в море на белом ялике. И когда они прошли по Сосновой улице к Элиотпарку и повернули за последний ряд домов, в которых жили вдовцы и вдовы, жалкая Томпсоновская семинария для девиц, должно быть, засияла перед ними в ночи, как замок или вилла, где устроили какое-то великолепное празднество для богатых и знаменитых, хотя там и не было света, а единственной живой душой в округе был полицейский в патрульном автомобиле, каждый час, или около этого, заезжавший в парк, чтобы погонять забредших потискаться подростков. В Элиот-парке была всего одна аллея; мы с Фрэнни никогда после наступления темноты не рисковали босиком пройти по этой аллее, боясь наступить на стекло от пивной бутылки или использованный презерватив.

Но теперь отец, наверное, рисовал совсем другую картину! Я представил себе, как он, должно быть, провел мать мимо пней давно погибших вязов – хруст стекла под ногами показался им грохотом гальки на дорогом морском пляже – и как он, скорее всего, сказал ей:

– Представляешь? Семейный отель! Большую часть времени мы сами будем им пользоваться. С тем, что мы сорвем на больших школьных уик-эндах, у нас даже не будет нужды в рекламе, по крайней мере большой. Просто в течение недели надо будет держать открытыми бар и ресторан, чтобы привлекать бизнесменов на обеды и вечеринки с коктейлями.

– Бизнесменов? – вслух удивилась моя мать. – Какие обеды и вечеринки с коктейлями?

Но даже когда Грустеч спугнул подростков, засевших в кустах, даже когда патрульная машина остановила мать и отца, чтобы выяснить их личности, мой отец был непоколебим.

– А, это ты, Вин Берри, – должно быть, сказал полисмен.

Машиной ночного патруля управлял старый Говард Так; он был глуповат, и от него пахло сигарами, затушенными в лужах пива. Грустеч, должно быть, зарычал на него, – очевидно, ароматы, исходящие от полисмана, вступили в конфликт с собственной высококлассной вонью собаки.

– У бедняги Боба был неудачный сезон, – возможно, посетовал старый Говард Так, поскольку все знали, что мой отец – сын Айовы Боба; отец был квотербеком⁷ в одной из старых команд школы Дейри под руководством тренера Боба, в команде, которая всегда выигрывала.

– Очередной неудачный сезон, – должно быть, пошутил мой отец.

– А что вы здесь делаете-то? – скорее всего, поинтересовался у них старый Говард Так.

И мой отец, должно быть, ответил:

– Знаешь, Говард, между нами, мы собираемся купить этот участок.

– Что?

– А вот на спор, – сказал, наверно, отец. – Сделаем тут отель.

– Отель?

– Именно, – сказал, по всей видимости, отец. – С рестораном и баром, для обедов и вечеринок с коктейлями.

– Для обедов и вечеринок с коктейлями, – повторил, должно быть, Говард Так.

– Ты только представь себе, – наверно, сказал отец. – Лучший отель в Нью-Гэмпшире!

– Черт подери! – только и смог ответить полисмен.

Во всяком случае, именно ночной патрульный Говард Так первый спросил моего отца:

– А как вы собираетесь его назвать?

Помните: это была ночь, а ночь вдохновляла моего отца. Он впервые встретился с Фрейдом и медведем ночью, по ночам он ходил ловить рыбу со Штатом Мэн, ночь была единственным временем, когда появился человек в белом смокинге, было темно, когда немцы со своим духовым оркестром появились в Арбутноте и пролили кровь; должно быть, было темно, когда мои отец и мать впервые спали вместе; и Фрейдова Европа сейчас была в полной темноте. Здесь, в Элиот-парке, освещенный фарами патрульной машины, мой отец взглянул на четырехэтажную кирпичную школу, которая и вправду напоминала захолустную тюрьму, – ржавые пожарные лестницы обвивали здание, как строительные леса окружают дом, который хочет превратиться во что-то другое. Несомненно, он взял мать за руку. В темноте, где нет никаких препятствий воображению, мой отец почувствовал, как к нему пришло имя нашего будущего отеля, имя для всего нашего будущего.

– Так как вы его назовете? – спросил старый полицейский.

– Отель «Нью-Гэмпшир», – сказал мой отец.

– Японский бог! – сказал Говард Так.

⁷ Главная фигура в команде американских футболистов; определяет сценарий игры и дает задание другим игрокам.

А какой бог в Японии? Может быть, они там поклоняются священной корове, как в школе Дейри?

Может быть, название «Японский бог» и лучше бы подошло для этого проекта, но вопрос был решен: ему суждено было называться отелем «Нью-Гэмпшир».

* * *

Когда мать и отец вернулись домой, я еще не спал, прогулка заняла у них намного больше пятнадцати минут, поэтому я знал, что по дороге они встретили по крайней мере белый ялик, если не Фрейда и не человека в белом смокинге.

Я услышал, как отец сказал:

– Господи, Грустец, ты что, не мог сделать это на улице?

Я прекрасно представлял себе это зрелище – их возвращение домой: Грустец фыркал у заборов, окружавших деревянные городские домики, поднимая из постелей чутко спящих стариков. Путаясь во времени, эти старики, должно быть, выглядывали в окно, видели моего отца и мать и, позабыв про прошедшие годы, шли обратно в постель, бормоча:

– Это парень Айовы Боба с девчонкой Бейтсов и опять этот старый медведь.

– Одну только вещь я не могу понять, – сказала моя мать. – Мы продадим этот дом и выедем из него раньше, чем можно будет въехать туда?

Потому что это, конечно, был единственный способ превратить старую школу в отель. Город с радостью отдаст им Томпсоновскую женскую семинарию по бросовой цене. Кому нужно это бельмо на глазу – развалина, где дети могут покалечиться, разбивая окна и лазая по пожарным лестницам? Но это был дом семьи моей матери, добротный семейный дом Бейтсов, именно он и должен был покрыть расходы на ремонт. Может быть, именно это Фрейд и имел в виду, когда говорил, что мать должна простить отца.

– Мы можем продать его до того, как въедем туда, – сказал отец, – но мы можем пока не выезжать отсюда. Это уже детали.

Эти детали (и многие другие) займут не один год, и из-за них-то Фрэнни и скажет однажды, много времени спустя после того, как ее швы будут сняты, а шрам станет таким маленьким, что будет казаться, что его можно легко смести пальцем или что один хороший поцелуй уберет с ее губы эту отметину:

– Если бы отец смог купить другого медведя, ему бы не надо было покупать отель.

Но первая иллюзия моего отца заключалась в том, что медведь может выдержать человеческий образ жизни, а вторая – в том, что человек может выдержать постоянную жизнь в отеле.

Глава 3

Победный сезон Айовы Боба

В 1954 году Фрэнк поступил в подготовительный класс школы Дейри, особых изменений в его жизнь это событие не внесло, разве что он стал больше проводить времени в своей комнате в одиночестве. Был какой-то неясный гомосексуальный инцидент, но в нем были замешаны несколько мальчиков, все из одного общежития и все старше Фрэнка, и подозревали, что Фрэнк стал жертвой довольно обычной для средних школ шутки. В конце концов, Фрэнк жил дома; неудивительно, что о жизни в общежитии у него были очень наивные представления.

В 1955 году в школу Дейри пошла Фрэнни, это был первый год, когда школа начала принимать девочек, – и прошло это не совсем гладко. Ничто не проходит гладко, если в дело замешана Фрэнни, но в данном случае было множество непредвиденных проблем, начиная с дискриминации в классных комнатах и кончая нехваткой душевых в крыле гимнастического зала, который отдали для пользования девочкам. Присутствие женщин-преподавателей повлекло за собой развал нескольких непрочных браков, а воображение мальчиков школы Дейри, несомненно, стало в тысячу раз более буйным.

В 1956 году настала моя очередь. Это был год, когда для тренера Боба купили всю защиту и целую тройку нападающих; школа знала, что он собирается уйти в отставку, а у него не было победных сезонов с самого конца войны. Они считали, что сделают ему приятное, снабдив команду выпускниками-атлетами из самых крутых бостонских школ. Впервые тренер Боб имел не только хорошую защиту, но и несколько крепких нападающих, и хотя старику не нравилась идея «покупать» команду – таких игроков мы (даже в те дни) называли «подставы», – но самым жестом он остался доволен. Однако у школы Дейри были и другие заботы, посерьезнее, чем устроить победный сезон в последний год работы Айовы Боба. Они рыскали по всем углам, чтобы привлечь как можно больше спонсоров, искали нового молодого футбольного тренера на следующий год. Боб знал, что еще один проигрышный сезон – и школа навсегда забросит футбол. Тренер Боб мог бы победить с командой, которую он создавал несколько лет, но без него у команды шансов не было.

– И потом, – сказал тренер Боб, – все таланты нуждаются в тренере. Эти парни без меня не сумеют стать звездами. Всем нужен план игры, каждому нужен кто-то, кто бы подсказал ему, что он делает неправильно.

В те годы тренер Боб имел много что сказать моему отцу по поводу плана игры и в отношении того, что он делает неверно. Тренер Боб заявил, что отремонтировать здание Томпсоновской семинарии для девиц – «все равно что насиловать носорога». Это потребует несколько больше времени, чем думал мой отец.

С продажей материнского дома никаких сложностей не возникло, он был очень хорошим, и мы на этом сорвали приличный куш, но новым владельцам не терпелось вступить во владение этой собственностью, и нам пришлось заплатить приличную ренту, чтобы прожить там еще один год после того, как были подписаны все бумаги.

Я помню, как наблюдал за тем, как из того, что должно было стать отелем «Нью-Гэмпшир», выносили старые школьные парты, сотни парт, которые были привинчены к полу. Сотни дыр в полу, которые надо было заделать или закрыть весь пол коврами. Это была только одна из деталей, с которыми пришлось столкнуться отцу.

А оборудование ванных комнат на четвертом этаже оказалось для него полным сюрпризом. Моя мать должна бы была это помнить: за несколько лет до ее поступления в Томпсоновскую женскую семинарию туалеты и ванные на верхнем этаже были оборудованы неправильно. Вместо того чтобы прислать сантехнику для учащихся старших классов, прислали и устано-

вили миниатюрные унитазы и раковины, предназначенные для детского сада на севере штата. Так как ошибочное оборудование стоило меньше, чем заказанное, Томпсоновская семинария для девиц решила ошибку не исправлять. Таким образом, поколение за поколением девочки, учащиеся старших классов, вынуждены были скрючиваться и подгибать колени всякий раз, когда собирались пописать или помыться, – туалеты детских размеров чуть не ломали девочкам спину, когда те садились на них слишком быстро, маленькие раковины были установлены на уровне коленей, а зеркала смотрели им прямо в грудь.

– Господи боже мой, – сказал отец, – да это какой-то сортир для эльфов.

Он надеялся расставить старое сантехническое оборудование по всему отелю, у него хватало здравого смысла понять, что гости не захотят пользоваться коммунальными ванными комнатами, но он думал, что сумеет сэкономить уйму денег, воспользовавшись уже установленными раковинами и туалетами. В конце концов, в средней школе было не так уж много оборудования, пригодного для отеля.

– Во всяком случае, зеркала пригодятся, – сказала мать, – просто мы их повесим несколько выше.

– И раковины с унитазами тоже, – настаивал отец.

– Кто сможет ими пользоваться? – спросила мать.

– Карлики? – предположил тренер Боб.

– Во всяком случае, Лилли с Эггом смогут, – заявила Фрэнни. – По крайней мере, еще несколько лет.

А потом еще были привинченные стулья, которые шли в комплекте с партами. Отец их тоже не хотел выбрасывать.

– Великолепные стулья, – говорил отец. – Очень удобные.

– Они какие-то такие изысканные, с вырезанными именами, – сказал Фрэнк.

– Изысканные, Фрэнк? – переспросила Фрэнни.

– Но они привинчены к полу, – сказала мать. – Люди не смогут их сдвинуть с места.

– А почему люди должны таскать с места на место мебель в отеле? – возмутился отец. – Я хочу сказать, что мы оборудуем комнаты так, как они должны выглядеть, правильно? И вообще, я не хочу, чтобы люди двигали стулья с места на место, – сказал он. – А в данном случае они этого просто не смогут делать.

– Даже в ресторане? – поинтересовалась мать.

– Люди любят после хорошего обеда отодвинуть стулья назад, – заметил Айова Боб.

– Ну а здесь это не получится, – настаивал отец. – Мы разрешим им вместо этого отодвигать столы.

– А почему бы и столы тоже не привинтить к полу, – предложил Фрэнк.

– Это слишком изысканная идея, – возразила Фрэнни.

Позже она скажет, что Фрэнк чувствовал себя настолько незащищенным, что предпочел бы все в жизни привинтить к полу.

Конечно, сделать из классов отдельные номера, каждый с собственной ванной, – вот что потребовало больше всего времени. Прокладка труб оказалась такой же сложной задачей, как организация грузового автопарка на железнодорожной станции; когда кто-то спускал воду на четвертом этаже, по всему отелю слышно было, как она с проклятиями отыскивает себе дорогу вниз. А в некоторых комнатах до сих пор оставались классные доски.

– Если они чистые, то какая в этом беда? – говорил отец.

– Конечно, – соглашался Айова Боб, – один гость может оставить сообщение следующему.

– Например, «Никогда больше здесь не останавливайся», – предположила Фрэнни.

– Все будет нормально, – сказал Фрэнк. – Я вот просто хочу, чтобы у меня была собственная комната.

– В отеле, Фрэнк, – сказала Фрэнни, – каждому полагается собственная комната.

Даже тренеру Бобу достанется комната, так как после выхода в отставку школа Дейри вряд ли разрешит ему жить на своей территории. Тренера Боба осторожно подготовили к этому; он был готов к переезду, как только у нас будет все готово. Его очень интересовало, как мы поступим со спортивным оборудованием: волейбольное поле с растрескавшейся глиной, хоккейное поле, баскетбольные щиты и кольца – сетки от них давным-давно сгнили.

– Ничто не выглядит таким заброшенным, как баскетбольные кольца без сеток, – говорил он. – Думаю, это очень грустно.

И вот в один прекрасный день мы наблюдали, как рабочие с отбойными молотками начали сбивать надпись «ТОМПСОНОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ ДЛЯ ДЕВИЦ», которая была глубоко утоплена в кирпичи на мертвенно-серой стене фасада над главным входом. Их рабочий день закончился – я уверен, они специально так подгадали, чтобы на стене остались буквы: «СЕМИНА... ДЛЯ ДЕВИЦ». Это была пятница, так что надпись провисела весь уик-энд, изрядно раздражая отца с матерью и смешивая тренера Боба.

– Почему бы тебе не назвать отель «СЕМЕНА ДЛЯ ДЕВИЦ»? – спрашивал Айова Боб отца. – Всего-то и надо было бы тогда, что одну букву заменить.

Боб был в хорошем настроении, так как его команда выигрывала и он знал, что вот-вот распрощается с растленной школой Дейри.

Если мой отец и бывал в плохом настроении, то он редко это показывал. (Он был полон энергии. «Энергия порождает энергию», – повторял и повторял он, готовя с нами уроки или тренируя свою команду.) Он не собирался уходить в отставку из школы Дейри, – возможно, он боялся рисковать, а может быть, ему наша мать не позволяла. Он продолжал заниматься отелем «Нью-Гэмпшир», но одновременно с этим вел в трех классах английский язык и тренировал зимнюю и весеннюю команды бегунов, так что дела продвигались вперед с половинной скоростью.

Фрэнк, казалось, исчез в школе Дейри; он был как одна из коров на ее эмблеме. Спустя небольшое время он стал незаметен. Он делал свое дело, пусть и не без труда, и посещал требуемые атлетические занятия, хотя у него не было любимого вида спорта и он не годился (или не пытался попасть) ни в одну из команд. Он был крупным и сильным, но, как всегда, неуклюжим. И (в шестнадцать лет) он отрастил на верхней губе тоненькие усики, благодаря которым выглядел намного старше. В нем была какая-то расхлябанность и что-то, напоминающее щенка, какая-то тяжелая неповоротливость в ногах, которая намекает на то, что в один прекрасный день щенок этот станет большой и внушительной собакой; но Фрэнк будет вечно ждать того баланса, который по зову животного внушительных размеров стать в самом деле внушительным. Друзей у него не было, но это никого не беспокоило; у Фрэнка никогда не было особой потребности в друзьях.

У Фрэнни, конечно, была масса дружков. Большинство из них были старше Фрэнни, а один из них мне даже нравился: это был высокий рыжеволосый ученик выпускного класса, сильный молчаливый тип, который греб на головной лодке в школьной команде. Звали его Стратерс, он вырос в штате Мэн и (если не считать мозолей у него на руках, ржаво-коричневых от бензоина, которым он смазывал их, чтобы они затвердели, и того факта, что временами от него несло как от влажного носка) был вполне приемлем, на взгляд любого члена нашей семьи. Даже на взгляд Фрэнка. Грустец рычал на него, но это из-за запаха. Стратерс покушался на доминирующее положение Грустца в нашем доме. Не знаю, был ли он в числе любимых приятелей Фрэнни, но он обожал ее и очень хорошо относился ко всем нам.

Некоторые другие – один из них был заводилой в той группе, которую наняли в Бостоне для тренера Боба, – были не столь приятны. Рядом с квотербеком этой команды Ральф Де Мео выглядел святым. Имя его было Стерлинг Доув, хотя все его звали Чип или Чиппер; это был жесткий угловатый парень из дорогой школы в пригороде Бостона.

– Он прирожденный лидер, этот Чип Доув, – говорил тренер Боб.

Он прирожденный начальник какой-нибудь секретной полиции, думал я. Чиппер Доув был симпатичным блондином, в безупречном и, наверно, даже красивом стиле; мы были темноволосой семьей, за исключением Лилли, которая была не столько блондинкой, сколько выцветшей, с головы до пят; даже волосы у нее были бледными.

Я наслаждался, наблюдая за игрой Чипа Доува, когда он выходил один на один с противником, не защищенный сильной цепочкой лайнменов, но администрация сделала для тренера Боба хороший подарок: футбольной команде школы Дейри не приходилось вести игру на своей половине поля. Когда она получала мяч, она удерживала его, и Доуву редко выпадала возможность показать себя. Хотя это был первый победный сезон, который мы, ребята, могли припомнить, он оказался скучным: совсем не интересно наблюдать, как они уверенно бегают по полю и тянут время. Они не были броскими, они были сильной, точной и хорошо натренированной командой; в обороне они были не так уж сильны, некоторые команды прорывались в их зону, но не так часто: другие команды редко получали мяч.

– Они держат мяч, – кричал Айова Боб. – Впервые после войны у меня команда, которая может держать мяч.

В отношениях Фрэнни и Чипа Доува меня успокаивало только то, что Доув был таким приверженцем своей команды, что редко появлялся без сопровождения остальных дейрийских беков⁸, а то и одного-двух лайнменов. Они терроризировали в том году школьный двор, как орда кочевников, и Фрэнни иногда можно было увидеть в их лагере. Доуву она нравилась; она нравилась, похоже, всем мальчишкам, за исключением Фрэнка. Девочки в ее компании были осторожны; она просто затмевала их, и, возможно, она была для них не очень хорошей подругой. Фрэнни постоянно встречалась с новыми и новыми людьми; она, может быть, была слишком любопытна до незнакомцев, чтобы хранить ту верность, которую ожидают девочки от подруг.

Не знаю, меня в эти вопросы не посвящали. Иногда Фрэнни устраивала для меня свидания, но девочки обычно были старше меня, и из этого ничего не получалось.

– Все считают тебя симпатичным, – говорила Фрэнни, – но тебе надо немного побольше разговаривать с людьми; знаешь, нельзя просто так сразу начинать обниматься.

– Я не начинаю обниматься, – говорил я ей. – Я никогда не дохожу до того, чтобы обниматься.

– Ну, – говорила она, – это из-за того, что ты просто сидишь и ждешь, пока что-то произойдет. Все знают, о чем ты думаешь.

– Ты не знаешь, – ответил я. – Не всегда знаешь.

– Ты имеешь в виду – обо мне? – спросила она, но я ничего не ответил. – Слушай, мальчик, – сказала Фрэнни, – я знаю, что ты слишком много думаешь обо мне, если ты это имеешь в виду.

* * *

Это именно тогда, в Дейри, она стала называть меня мальчиком, хотя между нами был всего лишь год разницы. И как бы я ни обижался, прозвище ко мне прилипло.

– Слушай, мальчик, – сказал мне как-то в душевой спортзала Чип Доув. – У твоей сестренки самая лучшая задница в школе. Она перепихивается с кем-нибудь?

– Со Стратерсом, – сказал я, хотя надеялся, что это не так; но Стратерс был, по крайней мере, лучше, чем Доув.

– Стратерс! – удивился Доув. – Этот чертов гребец? Этот дурень, который гребет?

⁸ Игроки, участвующие в заданной квотербеком комбинации; цель – захватить как можно большую часть поля.

– Он очень сильный, – сказал я; это было чистойшей правдой, гребцы все сильные, а Стратерс был самым сильным из них.

– Да, но он дурень, – ответил Доув.

– Только и знает, что целыми днями таскать весла! – сказал Ленни Метц, хафбек, который всегда – даже в душевой – дежурил справа от Доува, как будто и здесь ожидая передачи мяча. Он был молчаливый, как цемент, и такой же крепкий.

– Ну, мальчик, – произнес Чиппер Доув, – ты передай Фрэнни, что, по-моему, у нее самый лучший задок в этой школе.

– И титьки тоже, – воскликнул Ленни Метц.

– Ну, они хороши, – согласился Доув, – но задница – это действительно что-то.

– У нее и улыбка приятная тоже, – сказал Метц.

Чип Доув повернулся ко мне и заговорщицки закатил глаза, как будто хотел показать мне, что он знает, насколько глуповат Метц, и что сам он намного, намного круче.

– Не забудь помылиться, а, Ленни? – сказал Доув и передал ему скользкий кусок мыла, который тот инстинктивно, не мешкая, схватил в свой медвежий захват и прижал к животу.

Я выключил свой душ, так как кто-то большой влез вместе со мной под поток воды. Он вовсе отодвинул меня со своего пути и снова включил воду.

– Пошевеливайся, мужик, – мягко сказал он.

Это был один из тех лайнменов, что не давали другим футболистам напасть на Чипа Доува. Его звали Сэмюел Джонс-младший, но все его звали Младший Джонс. Младший Джонс был таким же черным, как те ночи, которые вдохновляли моего отца; потом он играл в футбольной команде Пенсильванского колледжа и профессиональной команде в Кливленде, пока ему не повредили колено.

В 1956 году мне было четырнадцать лет, и Младший Джонс был самым большим сгустком человеческой плоти, который я когда-либо видел. Я отступил с его дороги, но Чиппер Доув сказал:

– Эй, Младший, ты что, не знаешь этого мальчика?

– Нет, мы с ним еще не встречались, – сказал Младший Джонс.

– Так это же брат Фрэнни Берри, – заметил Чип Доув.

– Ну, здравствуй, – сказал Младший Джонс.

– Привет, – ответил я.

– Слушай, Младший, старый тренер Боб – дед этого мальчика.

– Очень мило, – сказал Младший Джонс.

Он наполнил свой рот мыльной пеной от небольшого куска мыла, который держал в руке, закинул голову и открыл рот, подставив его под струю воды. Я подумал, что, возможно, он это делает вместо того, чтобы чистить зубы.

– Мы тут обсуждали, – сказал Доув, – что нам нравится во Фрэнни.

– Ее улыбка, – сказал Метц.

– Ты говорил, что титьки тоже, – напомнил Чиппер Доув. – А я сказал, что у нее самый лучший в школе зад. Мы не спрашивали еще мальчика, что ему нравится в его сестре, но, думаю, мы сначала спросим тебя, Младший, что тебе в ней нравится.

Младший Джонс до конца смылил свой кусок мыла; когда он встал под душ, его огромная голова была вся покрыта пеной, а над коленями вспухли бугры мышц. Я посмотрел на свои ноги и почувствовал близкое присутствие еще парочки из команды Айовы Боба. Парня с обожженным лицом звали Честер Пуласки, он без конца торчал под лампой в солярии, и все равно его шея была усеяна угрями, а на лбу так и вообще места живого не было. Он играл первым блокирующим беком, не по выбору, а просто он не мог так быстро бегать, как Ленни Метц. Честер Пуласки был прирожденным блокирующим: вместо того чтобы бежать от противника, он предпочитал бежать на него. Вместе с ним, будто назойливый слепень вокруг лошади, рядом

со мной крутился парень, такой же черный, как и Младший Джонс, но цветом кожи все сходство между ними и ограничивалось. Он иногда играл ресивером⁹ и выбегал из задней части поля, только чтобы догнать Чипа Доува и сделать пас. Звали его Гарольд Своллоу, и он был не больше меня, но Гарольд Своллоу мог летать. Он не зря носил фамилию «Своллоу» – ласточка: он двигался, как эта птица; если кто-то его блокировал, он мог сложиться пополам, но если он не перехватывал пас и не мчался вперед, то обычно прятался сзади, чаще всего за спиной Младшего Джонса или Честера Пуласки.

Они все обступили меня плотным кругом, и я думаю, что если бы бомба упала в одну точку душевой, то с победным сезоном тренера Боба было бы покончено одним махом. С точки зрения спорта не хватились бы только меня. Я просто относился к другой категории, нежели нанятая для Айовы Боба команда беков или гигантский лайнмен Младший Джонс; конечно, были и другие лайнмены, но именно он помогал Чипперу Доуву играть столь успешно. Именно благодаря ему для Честера Пуласки находилась дыра, через которую тот мог провести Ленни Метца; Джонс делал дыру, через которую они оба могли пробежать плечом к плечу.

– Давай, Младший, подумай, – сказал Чип Доув, и сказал рискованно: насмешливый тон выдавал его сомнения в том, что Младший Джонс вообще может думать. – Что тебе нравится во Фрэнни Берри? – спросил Доув.

– У нее милые маленькие ножки, – сказал Гарольд Своллоу.

Все уставились на Младшего, но он просто плескался под струей воды, не обращая ни на кого внимания.

– У нее великолепная кожа, – сказал Честер Пуласки, беспомощно привлекая тем самым еще больше внимания к своим угрям.

– Младший! – сказал Чип Доув.

Младший Джонс выключил душ. Какое-то время он просто стоял, ожидая, пока с него стечет вода. Рядом с ним я чувствовал себя таким же, каким год назад был Эгг, когда только еще учился ходить.

– Для меня она просто одна из белых девушек, – сказал Младший Джонс.

Он помедлил, обвел нас всех взглядом и направился к выходу.

– Но похоже, хорошая девчонка, – добавил он мне.

После этого он снова включил мой душ, пихнул меня под холодную струю и вышел из душевой, оставив после себя сквозняк.

То, что даже Чип Доув не рискует заходить с ним слишком далеко, произвело на меня впечатление, но еще большее впечатление произвело то, в каком трудном положении Фрэнни, а самое большое впечатление произвело то, что я с этим ничего не могу поделать.

– Этот подонок Чиппер Доув рассуждает о твоей заднице, титьках и даже о твоих ногах, – сказал я ей. – Ты следи за ним.

– Моих ногах? – переспросила Фрэнни. – И что же он говорит о моих ногах?

– Ну ладно, – сказал я. – Это был Гарольд Своллоу.

Все знали, что Гарольд Своллоу с прибабахом; в те дни если кто-то был с такими же выкрутасами, как Гарольд Своллоу, то про него говорили, что он с поворотом, как вальсирующая мышь.

– А что про меня сказал Чип Доув? – спросила Фрэнни. – Меня именно он интересует.

– Все, что его интересует, – это твоя задница, – сказал я ей. – И он со всеми ее обсуждает.

– Мне на это наплевать, – сказала она. – Меня это не интересует.

Я повесил голову. Мы стояли в верхнем коридоре того, что теперь было арендованным домом, хотя для нас он все еще оставался семейным домом Бейтсов. Теперь Фрэнни редко заходила в мою комнату. Мы делали уроки по своим комнатам и встречались поговорить только

⁹ «Принимающий» – игрок, который занимает позицию на краю поля.

перед дверьми ванной. Фрэнк, похоже, даже ванной не пользовался. Теперь каждый день в холле перед нашими комнатами мать складывала все новые картонки и ящики; мы готовились переезжать в отель «Нью-Гэмпшир».

– И я не пойму, Фрэнни, на что тебе сдалась эта команда болельщиков, – сказал я. – Уж тебе-то зачем?

– Потому что мне это нравится, – ответила она.

В тот день мы встретились с Фрэнни как раз после тренировки болельщиков, недалеко от нашего места в папоротниках. Подойдя к спортивному полю Айовы Боба, мы не увидели ничего для нас (теперь уже учеников школы Дейри) особенно нового. На тропинке, которая сокращала путь к спортивному залу, к кому-то приставали: его столкнули в лужу грязи, истоптанную футбольными шиповками, – лужу как будто расстреляли из пулемета. Когда мы с Фрэнни узнали мальчишек-беков и увидели, что они кого-то бьют, то побежали другим путем. Эти беки вечно кого-то били. Но мы не пробежали и двадцати пяти ярдов, как Фрэнни схватила меня за руку и остановила.

– Я думаю, это Фрэнк, – сказала она. – Они подстерегли Фрэнка.

И тут мы, конечно, пошли назад. На какую-то секунду, пока мы не увидели, что там в действительности происходит, я ощущал себя очень храбрым; я почувствовал, как Фрэнни взяла меня за руку, и крепко сжал ее ладонь. Ее форменная юбочка болельщицы была так коротка, что я тыльной стороной ладони касался ее бедра. Затем она выпустила мою руку и завизжала. Я был в своих беговых шортах и почувствовал, как мои ноги похолодели.

Фрэнк был в своей оркестровой форме. Они полностью стащили с него штаны цвета дерьма (с мертвенно-серыми лампасами). Трусы у Фрэнка были где-то на коленях. Его форменная курточка была задрана до груди, один серебряный эполет плавал в грязной луже, напротив лица Фрэнка, а серебряная фуражка с коричневым околышем, почти неотличимая от грязи в луже, была смята коленом Гарольда Своллоу. Гарольд держал Фрэнка за одну руку, вытянув ее на всю длину; Ленни Метц вытянул другую руку Фрэнка. Фрэнк лежал на животе, яйцами в самом центре лужи, его непривычно голый зад ходил вверх-вниз, когда Чиппер Доув надавливал на него ногой, потом отпускал, потом снова давил. Честер Пуласки, блокирующий задний, сидел на голених Фрэнка.

– Ну, давай посношайся! – сказал Чиппер Доув Фрэнку.

Он втиснул зад Фрэнка глубоко в грязную лужу. Шипы оставляли на голом зад у белые вмятинки.

– Ну, давай, давай, грязееб, – сказал Ленни Метц. – Ты слышал, что тебе сказали: сношайся!

– Прекратите! – заголосила Фрэнни. – Что вы делаете?

Фрэнк, казалось, был больше всех встревожен, увидев ее, но даже и Чиппер Доув не сумел скрыть удивления.

– Ба, кого мы видим, – сказал Доув, но я чувствовал: он отчаянно придумывает, что сказать еще.

– Мы просто делаем ему, как он любит, – повернулся к нам Ленни Метц. – Фрэнк любит трахать всякую грязь, правда, Фрэнк?

– Пустите его, – сказала Фрэнни.

– Мы ничего плохого ему не делаем, – сказал Честер Пуласки. Он постоянно смущался из-за своих угрей, поэтому смотрел на меня, а не на Фрэнни, – возможно, он не мог видеть ее прекрасную кожу.

– Ваш братец любит мальчиков, – сказал нам Чиппер Доув. – Правда, Фрэнк? – обратился он к нему.

– Ну и что дальше? – сказал Фрэнк.

Он был зол, но не плакал; возможно, он ткнул кому-нибудь пальцами в глаза, возможно, одному или двоим от него досталось. Фрэнк никогда не сдавался без драки.

– Долбиться в жопу, – сказал Ленни Метц, – это отвратительно.

– Это все равно что в грязи полоскаться, – сказал Гарольд Своллоу, но, судя по его виду, он с большим удовольствием куда-нибудь убежал бы, а не держал за руку Фрэнка.

Гарольд Своллоу всегда выглядел неуверенно. Как будто он впервые в жизни ночью переходит оживленную улицу.

– Слушай, мы ничего плохого ему не делаем, – сказал Чиппер Доув.

Он снял ногу с задницы Фрэнка и шагнул к нам с Фрэнни. Я вспомнил, что тренер Боб всегда говорил, что травмы колена опаснее всего, и задумался, сумею ли я выбить Чипу Доуву коленку, прежде чем он разделает меня под орех.

Не знаю уж, о чем думала Фрэнни, но она сказала Доуву:

– Я хочу поговорить с тобой. Один на один. Я хочу побыть с тобой наедине прямо сейчас, – сказала она ему.

Гарольд Своллоу фыркнул таким странным носовым тоненьким смешком, как могла бы фыркнуть только вальсирующая мышь.

– Ну что же, это возможно, – сказал Доув Фрэнни. – Конечно, мы можем поговорить. Наедине. В любое время.

– Сейчас, – сказала Фрэнни. – Я хочу или сейчас, или никогда, – сказала она.

– Ну хорошо, сейчас, – сказал Доув.

Он глянул на своих товарищей по команде и закатил глаза. Честер Пуласки и Ленни Метц выглядели так, будто умирали от зависти, а Гарольд Своллоу нахмурился, уставившись на зеленое пятно от травы на своей футбольной форме.

Это было единственное пятно на нем: маленькое зеленое пятнышко там, где он в своем полете слишком близко наклонился к земле. А может быть, он нахмурился потому, что распластавшееся тело Фрэнка закрывало ему вид на ноги Фрэнни.

– Отпустите Фрэнка, – сказала Фрэнни. – И пусть остальные идут в спортзал, – прибавила она.

– Конечно, мы его отпустим, – сказал Доув. – Мы и так это сейчас собирались сделать, правда? – сказал он; кватербек давал сигнал своей команде.

Они отпустили Фрэнка. Фрэнк поднялся на ноги, стараясь прикрыть свое интимное место, облепленное густым слоем грязи. Он со злостью, не говоря ни слова, оделся. В это мгновение я больше боялся его, чем кого-либо другого; остальные, во всяком случае, делали то, что им было сказано, – семенили по тропинке к спортивному залу. Ленни Метц повернулся, оскалится и махнул рукой. Фрэнни показала ему – вали, мол. Мокрый Фрэнк протиснулся между мной и Фрэнни и заковылял домой.

– Ничего не забыл? – спросил его Чип Доув.

В кустах лежали цимбалы Фрэнка. Он остановился, и казалось, то, что он забыл свой инструмент, смутило его больше, чем предшествующие события. Мы с Фрэнни люто ненавидели Фрэнковы цимбалы. Я считал, что только форма оркестранта – ему было все равно какая, лишь бы форма! – привлекла Фрэнка в оркестр. Он был не слишком общительным, но, когда в победный сезон тренера Боба школа возродила оркестр – а в Дейри такого не помнили с самого окончания Второй мировой войны, – Фрэнк не смог устоять перед формой. Так как нормально играть он ни на чем не мог, ему доверили цимбалы. Другие люди, может быть, чувствовали бы себя неловко с этими тарелками, но только не Фрэнк. Ему нравилось маршировать, ничего при этом не делать, а только ждать своего большого момента для громкого БРЯЦ!

Это было совсем не то что иметь в семье кого-нибудь музыкально одаренного, кто постоянно репетирует и доводит всех до безумия своими гаммами, этюдами и упражнениями. Фрэнк на своих тарелках не репетировал. Иногда, в самое непредсказуемое время, из закрытой ком-

наты Фрэнка доносился оглушительный грохот, и мы с Фрэнни представляли, как Фрэнк марширует в своей форме, потев перед зеркалом, до тех пор, пока уже больше не в состоянии выносить звук собственного дыхания и не вдохновляется закончить свое шествие драматическим аккордом.

Грустеец в ответ лаял и, может быть, портил воздух. Мать что-нибудь роняла. Фрэнни бежала к дверям Фрэнка и колотила в них. У меня этот звук вызывал другие ассоциации – он напоминал мне внезапный выстрел ружья, и я каждый раз невольно, лишь на миг, задавался мыслью, не был ли перепугавший нас грохот звуком самоубийства Фрэнка.

На тропинке, где его подстерегли беки, Фрэнк вытащил из кустов свои перепачканные глиной цимбалы и зажал их под мышкой.

– И куда мы пойдем, – спросил Чип Доув у Фрэнни, – чтобы побыть наедине?

– Я знаю одно место, – сказала она, – поблизости. – И добавила: – Я его всю жизнь знала.

И я понял, конечно, что она имеет в виду папоротники, наши папоротники. Насколько я знал, Фрэнни не водила туда даже Стратерса. Думаю, она так ясно выразилась про них, чтобы мы с Фрэнком знали, где ее искать, и спасли ее, но Фрэнк уже был на пути к дому, брел по тропинке, не сказав ни слова Фрэнни, даже не взглянув в ее сторону, а Чип Доув улыбнулся мне своими ледяными голубыми глазами и сказал:

– Вали отсюда, мальчик.

Фрэнни взяла его за руку и потащила с тропинки, а я моментально нагнал Фрэнка.

– Господи, Фрэнк, – удивился я. – Ты куда? Мы должны помочь ей.

– Помочь Фрэнни? – переспросил он.

– Она помогла тебе, – напомнил я ему. – Это она спасла твою задницу.

– Ну и что? – сказал он и тут вдруг начал плакать. – Откуда ты знаешь, что она хочет нашей помощи? – сказал он, шмыгая носом. – Может быть, она хочет побыть с ним наедине.

Мне об этом даже страшно было подумать – это было почти так же плохо, как представить, что Чип Доув делает с Фрэнни то, чего она не хочет, чтобы он делал, и я схватил Фрэнка за единственный оставшийся у него эполет и потащил за собой.

– Прекрати плакать, – сказал я, не желая, чтобы Доув услышал, как мы подходим.

– Я хотела поговорить с тобой, только поговорить! – услышали мы крик Фрэнни. – Жопа ты крысиная! – орала она. – Мог быть таким милым, но взял и повел себя как натуральный кусок говна. Я ненавижу тебя! – кричала она. – Отвали! – завизжала она.

– Я думал, я тебе нравлюсь, – услышали мы голос Чиппера Доува.

– Может быть, и нравился. Только не теперь. Больше никогда, – ответила Фрэнни; в ее голосе уже не было злости, она плакала.

Когда мы с Фрэнком добрались до папоротников, футбольные штаны Доува были спущены до колен. У него были те же сложности с вложенными в них защитными подушечками, что мы с Фрэнни наблюдали год назад, когда шпионили за присевшим на корточки толстяком Пойндекстером. Одежда Фрэнни была в неприкосновенности, но вела себя сестра, на мой взгляд, непривычно пассивно – сидела в папоротнике (там, куда он ее толкнул, как она рассказывала мне позже) и закрывала лицо руками. Фрэнк со всей силы брякнул своими цимбалами, так сильно, что мне показалось, будто у меня над головой столкнулись два самолета. Затем он врезал правой тарелкой прямо в лицо Чипа Доува. Это был самый сильный удар, который кво-тербек получил за весь этот сезон; мы могли определенно сказать, что к такому он не привык. Ясно было и то, что спущенные штаны мешают ему двигаться. Я набросился на него сразу же, как только он упал. А Фрэнк продолжал колотить в свои тарелки, как будто это был какой-то ритуальный танец, который выполняет наша семья перед тем, как разделаться с врагом.

Доув скинул меня примерно так же, как Грустеец по-прежнему мог сбивать с ног Эгга, всего лишь хорошо мотнув головой, но грохот, который создавал Фрэнк, казалось, парализовал кво-тербека. И этот же грохот, похоже, вывел Фрэнни из ее ступора. Она сделала привычный

беспроницаемый ход, напрямик к интимным органам Чиппера Доува, и тот изобразил прощание с жизнью навеки, которое Фрэнк определенно должен был узнать, а я, конечно, помнил еще со времен Ральфа Де Мео. Она действительно очень хорошо прихватила его, он все еще сидел на сосновых иголках, со штанами вокруг коленей, когда Фрэнни оттянула до середины бедра его бандаж с защитной чашечкой и отпустила, и с громким хлопком тот впечатался на место. Всего лишь на какую-то секунду Фрэнк, Фрэнни и я увидели маленькую испуганную интимную часть Доува.

– Велика важность! – прокричала Фрэнни Доуву. – Велика важность, а?

Потом мы уговорили Фрэнка прекратить его упражнения с тарелками, – казалось, что их звук погубит в лесу все деревья и выгонит оттуда всех маленьких животных. Чиппер Доув лежал на боку, закрывая одной рукой свое мужское достоинство, а второй зажимал ухо от нестерпимого шума; другое свое ухо он притискивал к земле.

Когда мы уходили, оставив Чиппера валяться в папоротниках, я заметил его шлем и прихватил с собой. По дороге обратно, у грязной лужи на тропинке, Фрэнк и Фрэнни наполнили шлем грязью. Мы оставили его там налитым до краев.

– Дерьмо и смерть, – мрачно сказала Фрэнни.

Фрэнк все не мог прекратить звенеть своими тарелками, он был слишком возбужден.

– Господи, Фрэнк, – сказала Фрэнни. – Перестань, пожалуйста.

– Извините, – сказал он нам. А когда мы были уже ближе к дому, он сказал: – Спасибо.

– Спасибо вам тоже, – сказала Фрэнни. – Обоим вам, – добавила она, пожимая мне руку.

– Вы знаете, а я действительно педик, – пробормотал Фрэнк.

– Я догадывалась, – сказала Фрэнни.

– Все нормально, Фрэнк, – сказал я, поскольку – что еще может сказать брат?

– Я хотел сказать вам об этом, – признался Фрэнк.

– Это был очень изысканный способ сказать об этом, – заявила Фрэнни.

И даже Фрэнк рассмеялся. Думаю, я слышал, как Фрэнк смеется, впервые с тех пор, как мы обнаружили на четвертом этаже отеля «Нью-Гэмпшир» наш «сортир для эльфов».

Иногда мы гадали: а что, если жизнь в отеле «Нью-Гэмпшир» всегда такой и будет?

* * *

Важнее было другое: кто будет останавливаться в нашем отеле после того, как мы туда переедем и откроемся. По мере того как это время приближалось, отца все больше и больше тревожили сомнения: во всем ли верна его теория превосходного отеля? Он увидел по телевизору интервью с директором швейцарской школы гостиничного менеджмента. Тот заявил, что секрет успеха состоит в том, как быстро новый отель сумеет наладить систему предварительного бронирования.

«Предварительное бронирование» – написал отец на картонке от недавно распакованной сорочки и прикрепил картонку к холодильнику в нашем доме, который скоро станет чужим.

– Доброе утро, предварительное бронирование! – приветствовали мы друг друга за завтраком, чтобы подразнить отца, но он относился к этому довольно серьезно.

– Вот вы все смеетесь, – сказал он нам однажды утром. – А у меня уже два есть.

– Чего два? – спросил Эгг.

– Два предварительных бронирования, – таинственно сказал отец.

Мы планировали открыться в уик-энд во время игры с Эксетером. Мы знали, что это и будет первое «предварительное бронирование». Каждый год школа Дейри завершала свой неудачный сезон, проигрывая с внушительным счетом одной из больших школ, таких как Эксетер или Андовер. Было еще хуже, когда нам приходилось играть на выезде, на их ухоженных площадках. У Эксетера, например, был настоящий стадион; и команда Эксетера, и команда

Андовера выступали в красивых формах: в те дни это были чисто мужские учебные заведения, и учащиеся на занятия надевали пиджаки и галстуки. Некоторые из них надевали пиджаки и галстуки даже на футбольные матчи, но и в тех случаях, когда они были одеты неформально, они все равно выглядели лучше нас. Мы ужасно себя чувствовали, когда видели таких школьников, одновременно чистеньких и нахальных. И каждый год наша команда вываливалась на поле и выглядела там как дерьмо и смерть, а после игры мы и чувствовали себя так же.

Эксетер и Андовер попеременно использовали нас; каждый из них хотел провести с нами свою предпоследнюю игру в качестве разминки, так как последнюю игру сезона они обычно играли друг с другом.

Но в победный сезон Айовы Боба мы играли дома, и в тот год это был Эксетер. Не важно, победа или поражение, сезон был все равно победным, но большинство людей, даже мой отец и тренер Боб, считали, что в этом году школа Дейри может пройти весь турнир непобедимой, а в последней игре взять верх над Эксетером, командой, которая школе Дейри всегда была не по зубам. С победным сезоном могли вернуться даже выпускники прошлых лет, и игра с Эксетером была назначена на родительскую субботу. Конечно, тренеру Бобу хотелось, чтобы у бостонских беков и у Младшего Джонса была новая форма, и все равно он с удовольствием представлял себе, как его оборванная команда цвета дерьма и смерти размажет по всему полю команду Эксетера в хрустящей белой форме с алыми буквами на груди и алыми шлемами.

В этом году, во всяком случае, Эксетер был не в ударе; они прошли чемпионат где-то со счетом 5:3, и соперники у них были не такие сильные, будьте уверены, мы видали и посильнее, короче говоря, это была не самая великая их команда. Айова Боб видел в этом шанс, а отец воспринимал весь футбольный сезон как хорошее предзнаменование для отеля «Нью-Гэмпшир».

Уик-энд с эксетеровской игрой был забронирован предварительно, каждая комната – зарезервирована на два дня, а в ресторане на субботу все места заказаны.

Моя мать беспокоилась по поводу шеф-повара, как по настоянию отца называли эту женщину; она была канадкой с острова Принца Эдуарда, где лет пятнадцать готовила для большой семьи судовладельцев.

– Готовить для отеля – это не то что готовить для семьи, – предупреждала мать отца.

– Но она говорит, что это была большая семья, – возражал отец. – К тому же у нас маленький отель.

– У нас будет полный отель на эксетеровский уик-энд, – напоминала мать, – и полный ресторан.

Повара звали миссис Урик; ей должен был помогать ее муж Макс, бывший торговый моряк и судовой кок, у которого не было большого и указательного пальца на левой руке. Несчастный случай на камбузе судна под названием «Мисс Бесстрашная», как объяснил он нам, детям, с сальной усмешкой. Он кромсал себе морковку и размышлял о том, что бы сделала с ним миссис Урик, узнай она, как он проводил время с одной бесстрашной дамочкой на берегу в Галифаксе.

– Вдруг смотрю я на стол, – рассказывал он нам (Лилли ни на секунду не отводила глаз от его покалеченной руки), – а там – мои большой и указательный пальцы среди окровавленной морковки, а тесак так и ходит вверх-вниз, будто по своей воле...

Макс встряхнул своей искалеченной рукой, как будто освобождался от лезвия, и Лилли заморгала. Лилли было десять, хотя с тех пор, как ей исполнилось восемь, она, казалось, совсем не выросла. Эгг, которому было уже шесть лет, казался менее хрупким, чем Лилли, и рассказ Макса Урика производил на него значительно меньшее впечатление.

Миссис Урик не рассказывала историй. Часами она сидела, уткнувшись в кроссворды, но не заполняя клеточки буквами; она развешивала белье Макса в кухне, которая в Томпсоновской семинарии для девиц была девчоночьей раздевалкой, – и, значит, этим стенам не в новинку были сохнувшие носки и исподнее. Миссис Урик и мой отец решили, что для отеля

«Нью-Гэмпшир» лучше всего подойдет домашняя кухня. Под этим миссис Урик подразумевала выбор из двух больших бифштексов или обеда, сваренного по-новоанглийски; выбор из двух пирогов, а по понедельникам разнообразные мясные пирожки из недоеденных бифштексов. На ланч будут суп и холодные бутерброды, на завтрак – поджаренные кексы и так далее.

– Никаких изысков – такая простая, добротная еда, – сказала миссис Урик, скорее всерьез, чем в шутку.

Нам с Фрэнни она напоминала диетолога из подготовительных классов, тип, хорошо знакомый нам по школе Дейри, – даму, твердо верующую, что еда не развлечение, а, если угодно, моральный долг. Мы разделяли беспокойство матери о кухне, так как это должно было стать нашим обычным питанием, но отец был уверен, что миссис Урик справится.

Ей была выделена подвальная комната: «поближе к моей кухне», – сказала она, предвидя, что кастрюли будут стоять на огне всю ночь. У Макса Урика тоже была своя собственная комната на четвертом этаже. Лифта в семинарии не имелось, и мой отец был счастлив хоть как-то использовать комнаты четвертого этажа, где стояли раковины и туалеты детского размера. Но так как Макс привык справлять свои гигиенические потребности в тесном гальюне «Мисс Бесстрашной», карликовые габариты оборудования его не смущали.

– Хорошо для моего сердца, – говорил нам Макс. – Все эти подъемы по лестницам хорошо разгоняют кровь, – сказал он и пошлепал своей изувеченной рукой по седой груди.

Но мы считали, что Макс готов и на большие трудности, лишь бы держаться подальше от мисс Урик; он согласен был забираться по пожарной лестнице, он согласился бы на отсутствие туалета и умывальника. Он звал себя «рукастым», и когда он не помогал миссис Урик на кухне, предполагалось, что он что-нибудь чинит.

– Все, от туалета до замков, – заверял он.

Он умел языком делать звук, похожий на поворот ключа в замке, а еще умел издавать ужасный чавкающий звук, словно маленький туалет на четвертом этаже посылает свое содержимое в долгое и удивительное путешествие.

– А что со вторым предварительным бронированием? – спросил я отца.

Мы знали, что в один из уик-эндов весной будет выпускной вечер в школе Дейри и, может быть, в один из зимних уик-эндов будет большой хоккейный матч. Но краткие, пусть даже и постоянные визиты родителей к ученикам в школу Дейри вряд ли потребуют предварительного бронирования.

– Выпуск, да? – спросила Фрэнни.

Но отец покачал головой.

– Огромнейшая свадьба! – воскликнула Лилли, и мы все с удивлением уставились на нее.

– Чья свадьба? – спросил Фрэнк.

– Не знаю, – сказала Лилли. – Но очень гигантская, в самом деле большая. Самая большая свадьба в Новой Англии.

Мы никак не могли понять, откуда Лилли все это придумывает; мать обеспокоенно посмотрела на нее, потом сказала отцу:

– Не секретничай. – И добавила: – Мы все хотим знать, что это за второе предварительное бронирование?

– Это не раньше лета, – сказал он. – У нас еще масса времени, чтобы к нему подготовиться. А пока наша главная забота – эксетеровский уик-энд. Всему свое время.

– Это, наверное, съезд слепых, – сказала Фрэнни мне и Фрэнку, когда мы на следующее утро шли на занятия в школу.

– Или лепрозорий, – сказал я.

– Все будет в порядке, – озабоченно сказал Фрэнк.

Мы не ходили больше по тропинке через лес за спортивной площадкой. Мы шли прямо через футбольные поля, иногда бросались огрызками яблок в ворота или выходили на главную

дорожку, которая вела мимо общежитий. Мы были внимательны, чтобы не попасться на глаза игрокам Айовы Боба; никто из нас не хотел встретиться один на один с Чиппером Доувом. Отцу мы про этот инцидент не рассказывали, Фрэнк попросил нас ничего ему не говорить.

– Мать уже знает, – сказал он. – Я имею в виду, что я педик.

Мы с Фрэнни лишь на мгновение удивились, но, подумав, действительно нашли в этом здравый смысл. Если у тебя есть секрет, то мать его сохранит, а если тебе нужны демократические дебаты и семейные обсуждения, которые будут продолжаться часами, а может, неделями, а возможно, и месяцами, то, что бы это ни было, иди с этим к отцу. Он не слишком умел хранить секреты – хотя насчет второго предварительного бронирования из него было слова не выудить.

– Это будет встреча всех великих писателей и художников Европы, – предположила Лилли.

Мы с Фрэнни пнули друг друга под столом и закатили глаза; наши глаза говорили: «Лилли чудачка, Фрэнк педик, а Эггу еще только шесть лет». Наши глаза говорили: «Мы совсем одиноки в этой семье, нас всего лишь двое».

– Это будет цирк, – сказал Эгг.

– Откуда ты знаешь? – набросился на него отец.

– О нет, Вин, – сказала мать. – Это и правда цирк?

– Так, маленький, – сказал отец.

– Не потомки Ф. Т. Барнума? – поинтересовался Айова Боб.

– Конечно нет, – сказал отец.

– Королевские братья! – воскликнул Фрэнк; у него в комнате висел плакат выступления тигров в цирке Королевских братьев.

– Нет, я действительно имею в виду маленький цирк, – сказал отец. – Нечто вроде *частного* цирка.

– Ты хочешь сказать, это будет один из этих второсортных балаганов? – спросил тренер Боб.

– Только не с уродскими животными! – сказала Фрэнни.

– Конечно нет, – сказал отец.

– Что, по-твоему, значит «уродские животные»? – спросила Лилли.

– Лошади, у которых не хватает ног, – сказал Фрэнк. – Коровы с лишней головой, которая растет у них на спине, – пояснил Фрэнк.

– Где ты такое видел? – поинтересовался я.

– Там будут тигры и львы? – спросил Эгг.

– Так вот кто у нас поселится *на четвертом* этаже! – хмыкнул Айова Боб.

– Нет, посели их вместе с миссис Урик! – сказала Фрэнни.

– Вин, – сказала моя мать, – что за цирк?

– Ну, видишь ли, они могут воспользоваться полем, – сказал отец. – Они могут раскинуть свои шатры на старом спортивном поле, они могут питаться в ресторане, а некоторые из них могут действительно остановиться в отеле, хотя я думаю, что у большинства из них свои трейлеры.

– А какие там будут животные? – спросила Лилли.

– Ну, – сказал отец, – не думаю, что у них будет много животных. Это, видишь ли, маленький цирк. Возможно, несколько животных и будет. Наверняка у них есть какой-нибудь специальный номер, ну, знаете, как водится, а вот насчет животных я не уверен.

– Какой номер? – спросил Айова Боб.

– Это, наверное, один из этих ужасных цирков... – сказала Фрэнни. – Из тех, где только козы и цыплята и всякие задрипанные животные, которых все видели, – тупые северные олени, говорящие вороны. Но ничего большого и никого экзотического.

– Вот именно экзотических я и не допущу сюда, – сказала мать.

– Что за номер? – спросил Айова Боб.

– Ну, не знаю, я не уверен, – сказал отец. – Может быть, воздушные гимнасты.

– Ты не знаешь, какие у них животные, – сказала мать. – Ты не знаешь, какой у них специальный номер. А что ты знаешь?

– Это маленький цирк, – сказал отец. – Они просто хотят зарезервировать несколько комнат и, может быть, половину ресторана. По понедельникам у них выходной.

– По понедельникам выходной? – переспросил Айова Боб. – И на сколько времени ты забронировал им комнаты?

– Ну... – сказал отец.

– Вин! – встрепнулась мать. – Сколько недель они здесь пробудут?

– Они будут здесь все лето, – сказал отец.

– Ура! – воскликнул Эгг. – Цирк!

– Цирк, – сказала Фрэнни. – Какой-то нелепый цирк.

– Тупые животные, тупые номера, – сказал я.

– Нелепые животные, нелепые номера, – сказал Фрэнк.

– Ну, Фрэнк, ты им вполне подойдешь, – сказала ему Фрэнни.

– Прекратите, – сказала мать.

– Нет причин так беспокоиться, – сказал отец. – Это просто маленький частный цирк.

– Как он называется? – спросила мать.

– Ну... – сказал отец.

– Ты не знаешь, как он называется? – полюбопытствовал тренер Боб.

– Конечно, я знаю, как он называется, – возмутился отец. – Он называется «Номер Фрица».

– «Номер Фрица»? – переспросил Фрэнк.

– Что за номер-то? – спросил я.

– Ну, – сказал отец. – Это просто название. Я уверен, что у них не один номер.

– Звучит очень современно, – сказал Фрэнк.

– Современно, Фрэнк? – возмутилась Фрэнни.

– Звучит как полный изврат, – сказал я.

– Что такое изврат? – спросила Лилли.

– Это такое животное? – спросил Эгг.

– Не обращайтесь внимания, – сказала мать.

– Думаю, нам надо сосредоточиться на эксетеровском уик-энде, – сказал отец.

– Да, и переехать самим, и мне переехать, всем нам, – сказал Айова Боб. – У нас еще масса времени, чтобы обсудить лето.

– Все лето предварительно забронировано? – спросила мать.

– Видишь? – сказал отец. – Вот это называется хороший бизнес. Уже обеспечено и лето, и эксетеровский уик-энд. Но все по порядку. Сначала нам всем надо переехать.

Это случилось в уик-энд за неделю до игры с Эксетером; это было в тот уик-энд, когда наемники Айовы Боба выиграли девять очков, – это была их девятая победа, и опять всухую. Фрэнни не ходила на стадион; она решила никогда больше ни за кого не болеть. В ту субботу мы с Фрэнни помогли матери перевезти последние вещи, которые еще не перевез в отель «Нью-Гэмпшир» фургон с грузчиками; Лилли и Эгг пошли с отцом и тренером Бобом на матч; Фрэнк, конечно, был в оркестре.

На четырех этажах было тридцать комнат. Наша семья занимала семь комнат в юго-восточном углу, на двух этажах. Подвальную комнату оккупировала миссис Урик; это означало, что вместе с комнатой на четвертом этаже, занятой Максом, для гостей оставалось двадцать две комнаты. Но главная официантка и главная уборщица Ронда Рей заняла дневную

комнату на втором этаже – чтобы приводить себя в порядок, как она сказала отцу. А две комнаты в юго-восточном крыле на третьем этаже, как раз над нами, были отведены для Айовы Боба. Таким образом, для гостей оставалось только девятнадцать комнат, и только в тринадцати из них имелись собственные ванны; шесть комнат были оборудованы карликовой сантехникой.

– Этого более чем достаточно, – сказал отец. – Городок у нас маленький. И не очень популярный.

Возможно, этого и было более чем достаточно для цирка под названием «Номер Фрица», но мы волновались о том, как сумеем управиться с полным домом гостей в эксетеровский уик-энд.

В ту субботу мы переехали; Фрэнни обнаружила переговорное устройство и включила кнопку «прием». Все комнаты были, конечно, пустыми, но мы старались представить себе, что слушаем, как в них въезжают первые гости. Громкожалющаяся система, как назвал ее отец, осталась, конечно, от Томпсоновской семинарии для девиц, таким образом руководство могло объявить пожарную тревогу прямо в классы, а учителя – услышать, если учащиеся безобразничают в своих комнатах. Отец решил, что с интеркомом можно обойтись без телефонов в номерах.

– Они смогут попросить все, что захотят, через внутреннюю связь, – сказал отец. – Или мы можем будить их к завтраку. А если им понадобится телефон – аппарат будет внизу, на стойке регистрации.

Но конечно, интерком означал, что можно и подслушивать, что гости делают в своих номерах.

– Это невозможно этически, – сказал отец, но мы с Фрэнни дожидаться не могли этого часа.

В ту субботу, когда мы туда переехали, у нас не было телефона ни на регистрационной стойке, ни в нашей собственной квартире, не было у нас и белья, потому что прачечная, с которой мы договорились, должна была поставлять его вместе с бельем для всего отеля. Они должны были начать свою работу только в понедельник, Ронда Рей тоже должна была начать работать только в понедельник, но, когда мы приехали, она была там, в отеле «Нью-Гэмпшир», – осматривала свою дневную комнату.

– Она мне просто необходима, понимаете? – сказала она матери. – Я хочу сказать, что не смогу менять простыни сразу после того, как подам завтрак, и перед тем, как подам обед, – мне нужно место, где бы я могла полежать. И между обедом и ужином, если не полежу, я начинаю себя мерзко чувствовать, прямо вся. А если бы вы еще и жили там, где живу я, то вы бы вообще не захотели идти домой.

Ронда Рей жила в Хэмптон-Бич, где работала официанткой и меняла простыни летом, когда наезжали курортники. Она искала круглогодичную работу по своей гостиничной специальности и (как предполагала моя мать) возможность навсегда покинуть Хэмптон-Бич. Она была примерно того же возраста, что и моя мать, и с уверенностью утверждала, что присутствовала при том, как Эрл выступал в казино. Хотя она не видела его танцев, она помнила сам оркестр и номер «Прием на работу».

– Но я никогда не верила, что это настоящий медведь, – говорила она нам с Фрэнни, пока мы наблюдали, как она в своей дневной комнате распаковывает маленький чемодан. – Ну то есть, – говорила Ронда Рей, – я думала, кого это может возбуждать – как раздевается настоящий медведь.

Мы удивлялись: с чего это она вынимает из чемодана ночные принадлежности, если это дневная комната и она не собирается проводить здесь ночь; она была женщиной, которая вызывала у Фрэнни любопытство, и я думаю, в ее глазах она была даже экзотичной. У нее были крашенные волосы; трудно выразить, какого цвета они были, одно могу сказать: это был неесте-

ственный цвет. Не рыжие, не желтые – цвет пластика или металла, и мне было интересно, как она себя при этом чувствует. Я представлял, что тело у Ронды Рей когда-то было таким же крепким, как у Фрэнни, но теперь несколько располнело. Все еще сильное, но раздавшееся. Трудно было сказать, чем от нее пахло, хотя, после того как мы вышли от Ронды, мы с Фрэнни попробовали это определить.

– Два дня назад она помазала духами запястья, – сказала Фрэнни. – Улавливаешь?

– Ага, – сказал я.

– Но часов на ней тогда не было, ее брат носил тогда ее часы или отец, – сказала Фрэнни. –

В общем, мужчина, который по-настоящему здорово потеет.

– Так, – сказал я.

– Затем Ронда надела часы, поверх духов, и она носила их весь день, пока заправляла кровати, – сказала Фрэнни.

– Какие кровати? – спросил я.

Фрэнни на минуту задумалась.

– Кровати, на которых спали очень странные люди, – сказала она.

– Там спал цирк «Номер Фрица», – предложил я.

– Правильно! – сказала Фрэнни.

– Целое лето! – сказали мы в унисон.

– Правильно, – сказала Фрэнни. – И вот что мы чувствуем, когда нюхаем Ронду, – чем пахнут ее часы после всего этого.

Это было очень близко к действительности, но я думаю, что ее запах был несколько получше, только немного. Я подумал о чулках Ронды Рей, которые она повесила в чулане своей дневной комнаты; я думал, что если понюхаю эту пару чулок как раз под коленками, то уловлю настоящий ее запах.

– Ты знаешь, почему она их носит? – спросила меня Фрэнни.

– Нет, – сказал я.

– Какой-то мужчина пролил ей на ноги кофе, – сказала Фрэнни. – Он сделал это нарочно.

Пытался ее ошпарить.

– Откуда ты знаешь? – спросил я.

– Я видела шрамы, – сказала Фрэнни. – И она мне сама об этом говорила.

Мы отключили микрофоны во всех остальных комнатах и слушали только то, что происходит в комнате Ронды. Она чем-то была занята. Потом мы услышали, как она закурила. Мы представили себе, какие звуки она издает, оставшись с мужчиной.

– Шумно бывает, – сказала Фрэнни.

Мы прислушивались к звукам дыхания Ронды, смешанным с потрескиванием системы связи – древней системы, работающей, как электрическая изгородь, от автомобильных аккумуляторов.

Когда Лилли, Эгг и отец пришли с матча, мы с Фрэнни посадили Эгга в буфет-автомат и начали поднимать и опускать его по всей шахте четырехэтажного здания, пока Фрэнк не наябедничал на нас и отец не сказал нам, что буфет-автомат будет использоваться только для белья и посуды или других вещей, которые надо убрать из комнат, но никак не для людей.

К тому же отец добавил, что это небезопасно. Если мы отпустим веревку буфета, он пойдет вниз со скоростью, соответствующей своему весу. Это будет слишком быстро, если не для вещей, то, по крайней мере, для человека.

– Но Эгг же такой легкий, – возразила Фрэнни. – Я хочу сказать, что мы же не собираемся испытывать это на Фрэнке.

– Вам вообще нечего тут испытывать! – сказал отец.

Затем потерялась Лилли, и мы почти на час бросили распаковывать вещи, пытаясь ее найти. Ее обнаружили на кухне в обществе миссис Урик, которая завладела ее вниманием,

рассказывая о тех способах, которыми ее наказывали, когда она была девочкой. Ей отрезали волосы большими клочьями, чтобы унижить ее, когда она забывала умыться перед ужином; ее отправляли стоять босиком на снегу, когда она произносила запрещенные слова; а когда она попадалась на том, что «умыкала» что-нибудь съестное, ее заставляли съесть столовую ложку соли.

– Когда вы с мамой будете уезжать, – сказала Лилли отцу, – не оставляйте нас с миссис Урик, ладно?

Фрэнку досталась лучшая комната, а Фрэнни жаловалась: ей пришлось делить комнату с Лилли. Дверной проем без двери соединял мою комнату с комнатой Эгга. Макс Урик отсоединил у себя интерком, и когда мы подключались к его комнате, то не слышали ничего, кроме помех, как будто старый моряк все еще был далеко в море. Из комнаты миссис Урик раздавались такие звуки, как будто у нее что-то варилось на плите, – звуки жизни, дающей о себе знать бульканьем.

Нам так хотелось, чтобы у нас было больше гостей и чтобы отель «Нью-Гэмпшир» открылся по-настоящему, что мы никак не могли успокоиться.

Чтобы мы устали, отец провел с нами две пожарные тревоги. Но это лишь вдохновило нас на новые подвиги. Когда стемнело, мы обнаружили, что не подключено электричество, поэтому мы стали прятаться и искать друг друга, расхаживая по пустым комнатам со свечой.

Я наткнулся на дневную комнату Ронды на втором этаже. Я задул свечу и по запаху нашел комод, в который она сложила свои ночные принадлежности. Я слышал, как на третьем этаже завизжал Фрэнк – он в темноте задел рукой какое-то растение, – а потом я услышал звук, который мог быть только смехом Фрэнни в помещении с хорошим эхом, то есть разве что в лестничном колодце.

– Ну, наигрались! – ревел отец из своих помещений. – Когда здесь будут гости, вы уж так не побегаετε.

Лилли обнаружила меня в комнате Ронды Рей и помогла мне уложить обратно в комод ее вещи. Отец натолкнулся на нас, когда мы выходили из комнаты Ронды, отвел Лилли в наши комнаты и уложил в постель; он был раздражен, поскольку хотел позвонить в электрическую компанию и пожаловаться, что нам не подключили электричество, и обнаружил, что телефоны тоже не подключены. Мать вызвалась прогуляться вместе с Эггом и позвонить с железнодорожной станции.

Я пошел искать Фрэнни, но она незаметно вернулась обратно в холл; она включила интерком на передачу и сделала объявление, которое прогремело по всему отелю.

– Слушайте распоряжение! – прогудела Фрэнни. – Слушайте распоряжение! Всем покинуть кровати для секс-проверки.

– Что такое секс-проверка? – поинтересовался я, сбегая по лестнице в холл.

Фрэнк, к счастью, пропустил это сообщение; он спрятался на четвертом этаже в технической кладовке, в которой не было интеркома; когда объявление дошло до него, оно успело исказиться, и он, очевидно, решил, что отец снова устроил нам пожарную тревогу; метнувшись прочь из кладовки, он запнулся о бадью и упал на четвереньки, ударился головой о пол, а рукой на этот раз втяпался в дохлую мышь.

Мы опять слышали, как он взвизгнул, а Макс Урик открыл свою дверь в конце коридора четвертого этажа и заорал так, будто снова был в море и тонул:

– Прекратите, черт бы вас всех побрал, свои ужасные визги, а не то я подвешу вас за ваши нежные пальчики на пожарной лестнице!

Это испортило Фрэнку настроение; он пришел к выводу, что наши игры – «ребячество», и пошел в свою комнату. Мы с Фрэнни начали наблюдать за Элиот-парком из большого углового окна комнаты «3F», которая должна была стать спальней тренера Боба, но сам Боб был на

банкете в спортивном отделе: праздновали не важно что, но явно не последний матч – его еще предстояло сыграть.

Элиот-парк, как обычно, был пустынным, и брошенный спортивный инвентарь на площадке в тусклом свете единственного уличного фонаря выглядел как мертвые деревья. Остатки строительного оборудования были еще здесь – передвижной дизель и будка для рабочих; но строительные и отделочные работы в отеле «Нью-Гэмпшир» были уже закончены, и единственным оборудованием, которым в ближайшие дни еще предстояло воспользоваться, был канавокопатель, стоявший, как голодный динозавр, на главной дорожке, ведущей к флагштоку. Оставалось еще несколько пней от старых вязов, которые следовало выкорчевать, и несколько ям около новой стоянки для машин – ямы надо было закопать. Мягкий глянцевый свет исходил из окон нашей квартиры, оттуда, где отец со свечой в руках укладывал спать Лилли, и из комнаты Фрэнка, где тот, несомненно, надел оркестровую форму и смотрелся в зеркало.

Мы с Фрэнни увидели, как к Элиот-парку, словно акула, рыскающая в поисках маловероятной пищи в заброшенных водах, подъехала патрульная машина. Мы воображали, как старый патрульный Говард Так «арестует» мать и Эгга, когда те будут возвращаться с железнодорожной станции. Мы воображали, что, увидев пламя свечей в окнах отеля «Нью-Гэмпшир», патрульный Так решит, что это призраки бывших учениц Томпсоновской семинарии для девиц. Но Говард остановил машину за самой крупной кучей строительного мусора, заглушил двигатель и выключил огни.

Мы видели кончик его сигары, похожий на сверкающий красный глаз в темноте салона. Мы увидели, как мать и Эгг, незаметно подойдя к отелю, начали пересекать наружную площадку; они вышли из темноты на скудный свет, как будто их время на земле было освещено так же кратко и тускло; я вздрогнул от этой мысли и почувствовал, как Фрэнни тоже вздрогнула.

– Давай пойдем, включим свет, – предложила Фрэнни. – Во всех комнатах.

– Так электричества же нет, – сказал я.

– Это сейчас, дурень, – возразила она. – Но если мы включим везде свет, то, как только дадут электричество, весь отель вспыхнет огнями.

Идея показалась мне очень привлекательной, и я помог Фрэнни в ее осуществлении. Мы включили даже свет в коридоре, куда выходила дверь Макса Урика, и наружные огни, которые в один прекрасный день будут освещать уличную площадку ресторана, а пока – только бросать отблеск на канавокопатель и на желтую строительную каску, подвешенную за ремешок на одиноком деревце, которое канавокопатель пощадил. Рабочий, которому принадлежала эта каска, будто бы исчез навсегда.

Оставленная каска напомнила мне о Стратерсе, сильном и занудном; я знал, что Фрэнни уже давно с ним не виделась. Я знал, что сейчас у нее нет друга, которому бы она отдавала предпочтение, и вообще она, казалось, смотрела на эти вещи как-то невесело. Фрэнни была девственницей, это она сама мне сказала, но не потому, что ей так хотелось, а потому, что во всей школе Дейри не было никого, как она решила для себя, «кто бы этого был достоин».

– Я не хочу сказать, что я уж так хороша, – сказала она мне, – но я не хочу, чтобы это сделал какой-нибудь придурок, и не хочу, чтобы это сделал кто-нибудь, кто будет потом надо мной смеяться. Это очень важно, Джон, – сказала она, – особенно в первый раз.

– Почему? – спросил я.

– Просто потому, – сказала Фрэнни, – что это первый раз. Он останется с тобой навечно.

Я сомневался в этом, надеялся, что это не так. Я подумал о Ронде Рей: что для нее означал первый раз? Я подумал о ее ночных принадлежностях, пахнущих так же противоречиво, как ее запястье под часами, как ямка под ее коленкой.

К тому моменту, когда мы с Фрэнни включили весь свет, Говард Так и патрульная машина так и не двинулись с места. Мы выскочили на улицу, мы хотели увидеть, как весь отель вспых-

нет огнями, когда дадут электричество. Мы забрались на водительское сиденье канавокопателя и стали ждать.

Говард Так настолько тихо сидел в своей машине, будто ждал там отставки. Айова Боб всегда любил говорить, что наш патрульный постоянно выглядит так, словно стоит «на пороге смерти».

Когда Говард Так включил зажигание своей полицейской машины, отель озарился, *как будто это сделал он*. Когда мигнули огни патрульной машины, все лампочки в отеле ожили, и Говард Так, кажется, рванул машину вперед – и остановился, как будто от этого света у него закружилась голова и его нога соскользнула с педали газа или сцепления. В самом деле то, что огни отеля «Нью-Гэмпшир» вспыхнули именно в тот момент, когда он запустил свою машину, оказалось для старика Говарда Така слишком большим испытанием. Его жизнь в Элиот-парке проходила в полумраке, и разнообразили ее разве только нечаянные сексуальные открытия, неопытные подростки, пойманные в свете фар, и случайные вандалы, задумавшие нанести стандартные увечья Томпсоновской семинарии для девиц, а однажды учащиеся школы Дейри стащили одну из священных коров и привязали ее к воротам в конце хоккейного поля.

Все, что увидел Говард Так, когда запустил машину, – это четырехэтажный столб света. Отель «Нью-Гэмпшир» выглядел в это мгновение так, будто взрывается. В комнате Макса Урика громким всплеском музыки ожило радио; в подвальной кухне миссис Урик зазвенел на плите таймер; Лилли вскрикнула во сне, Эгг, обеспокоенный внезапным электрическим жужжанием, зажмурил глаза. Мы с Фрэнни, сидя в канавокопателе, зажали уши, как будто такая внезапная вспышка огней могла сопровождаться только звуком взрыва. А старый патрульный Говард Так почувствовал, как его нога соскользнула с педали сцепления, – в этот момент его сердце остановилось и он покинул этот мир, в котором отели так просто могут врываться в жизнь.

* * *

Мы с Фрэнни первыми подбежали к патрульной машине. Мы увидели, что тело полицейского навалилось на руль, а голова прижала кнопку клаксона. Мать, отец и Фрэнк выскочили из отеля «Нью-Гэмпшир», как будто полицейская машина подала очередной сигнал пожарной тревоги.

– Господи Иисусе, да ты же мертвый! – сказал отец старику, тряся его за плечо.

– Мы не хотели этого, мы не хотели, – повторяла Фрэнни.

Отец стукнул старого Говарда Така по груди и положил его на переднее сиденье машины, затем еще раз постучал по груди.

– Позвоните кому-нибудь, – сказал отец, но в нашем несчастливом доме не было работающего телефона.

Отец озадаченно посмотрел на путаницу проводов и переключателей, микрофонов и наушников в патрульной машине.

– Алло? Алло! – сказал он в какую-то штуку, щелкая выключателями. – Как, черт бы ее побрал, работает эта штука?

– Кто это? – раздался в трубке голос диспетчера.

– Вышлите «скорую» в Элиот-парк! – сказал мой отец.

– Вызов на Хеллоуин? – спросил голос. – Неприятности на Хеллоуине? Алло! Алло!

– Господи, сегодня же Хеллоуин! – сказал отец. – Бестолковая машина, черт бы ее побрал! – воскликнул он и хлопнул по торпеде патрульной машины рукой, другой же рукой он еще раз нажал на недвижную грудь Говарда Така.

– Мы можем вызвать «скорую»! – воскликнула Фрэнни. – Школьную «скорую»!

Мы побежали через Элиот-парк, который теперь был залит огнями от отеля «Нью-Гэмпшир».

– Японский бог! – воскликнул Айова Боб, когда мы наткнулись на него у выхода на Сосновую улицу; он смотрел на сверкающий отель так, будто тот открылся без него. В неестественном свете тренер Боб показался мне намного старше, но, подозреваю, он попросту выглядел на свой возраст – выглядел тем, кем и был на самом деле: дедом и отставным тренером, которому осталось сыграть одну, последнюю игру.

– У Говарда Така сердечный приступ! – сказал я ему.

И мы с Фрэнни побежали к школе Дейри, которая всегда была готова к сердечным приступам, особенно в Хеллоуин.

Глава 4

Фрэнни проигрывает драку

В Хеллоуин городское управление полиции послало старого Говарда Така, как обычно, в Элиот-парк, полиция штата направила две машины патрулировать территорию школы Дейри, а служба безопасности была увеличена вдвое; что касается Хеллоуина, тут у школы Дейри была вполне определенная репутация, хотя традиция была и недавней.

Это как раз в Хеллоуин одна из священных коров была привязана к футбольным воротам в Томпсоновской семинарии для девиц. Это опять-таки в Хеллоуин еще одну корову затащили в спортивный зал школы Дейри, а потом – в бассейн, где животное отравилось хлоркой и утонуло.

Именно в Хеллоуин четверо маленьких ребят сделали глупость: пошли, по обычаю, выпрашивать подарки и забрели в одно из общежитий школы Дейри. Там их продержали всю ночь; ученик, одетый в костюм палача, побрил им головы – после этого один из ребят лишился речи на целую неделю.

– *Ненавижу* Хеллоуин, – сказала Фрэнни, когда мы заметили на улице несколько детишек, выпрашивающих подарки.

Малыши из школы Дейри боялись Хеллоуина. Мальчик с бумажным мешком и маской на голове опасливо сжался, когда мы с Фрэнни пробежали мимо, а группа маленьких ребят, один одетый ведьмой, другой – призраком, а двое – роботами из нового фильма о марсианском вторжении, бросилась наутек в безопасное укрытие (освещенный подъезд), когда мы направились в их сторону по тротуару.

Вдоль по улице то там, то тут были припаркованы машины с взволнованными родителями, наблюдающими, как их дети осторожно приближаются к двери, чтобы позвонить в звонок. Несомненно, в беспокойных родительских головах проскакивали обычные для этого дня мысли о бритвенных лезвиях в яблоках или мышьяке в шоколадных конфетах. Один из таких взволнованных отцов навел на нас включенные фары автомобиля и, выскочив из машины, пустился за нами в погоню.

– Эй, вы! – закричал он.

– У Говарда Така сердечный приступ! – крикнул я ему, и это, похоже, заставило его замедлить.

Мы с Фрэнни пробежали сквозь открытые ворота, похожие на ворота кладбища и ведущие на спортивную площадку школы Дейри. Пробегая мимо металлической решетки, я задумался о том, как она будет выглядеть в эксетеровский уик-энд, когда здесь будут продавать эмблемы, флажки и колокольчики для увеселения болельщиков. Сейчас это было довольно безрадостное сооружение. Не успели мы миновать ворота, как нам навстречу попала небольшая стайка ребятишек, которые бежали в противоположном направлении, наружу. Можно было подумать, за ними гонится сама Смерть с косой: на лицах у некоторых застыл ужас похлеще, чем на чудом сохранившихся у других хеллоуинских масках. Их пластиковые черно-белые и тыквенного цвета костюмы были разодраны в клочья, а завывали они, как целая палата детской больницы, – это был захлебывающийся вопль ужаса.

– Господи Иисусе, – сказала Фрэнни.

Они рванули от нас, как будто это она была в страшном костюме, а на мне надета самая ужасная из всех масок.

Я схватил маленького мальчишку и спросил его:

– Что случилось?

Но он только орал, и извивался, и попробовал укунить мое запястье, он был мокрый и дрожал, от него как-то странно пахло, его костюм скелета расплзался у меня в руках, как промокшая туалетная бумага или сгнившая губка.

– Гигантские пауки! – безумно заорал он.

Я отпустил его.

– Что случилось? – прокричала им вслед Фрэнни, но ребята исчезли так же мгновенно, как и появились.

Перед нами расстиались футбольные и баскетбольные поля, темные и пустые; в самом их конце, как огромные корабли в окутанной туманом гавани, стояли здания общежитий и школы Дейри. Они светились редкими огоньками, как будто все рано улеглись спать и только несколько старательных учащихся жгли, как они выражались, полночную лампаду. Но мы с Фрэнни знали, что в школе Дейри есть только несколько «старательных» учащихся, и едва ли даже они в субботний вечер в Хеллоуин сидят за учебниками; и, уж конечно, темные окна вовсе не означали, что там кто-то спит. Возможно, они там, в темноте, пили, возможно, издевались друг над другом или над схваченными детьми. А может, там, во мраке, зародилась новая религия, которая свела всех с ума, и отправление ее ритуалов требовало непроглядно-темной ночи, а Хеллоуин был ее Судным днем.

Что-то было не так. Белые деревянные ворота на ближнем краю бейсбольного поля казались какими-то слишком белыми, хотя это была самая темная на моей памяти ночь за всю мою жизнь. Что-то было в этих воротах слишком очевидное, неприкрытое.

– Хотелось бы мне, чтобы с нами был Грустец, – сказала Фрэнни.

«Будет с нами Грустец, как же», – подумал я, зная то, чего еще не знала Фрэнни: отец сегодня отвел Грустца в ветлечебницу на усыпление. В отсутствие Фрэнни состоялась печальная дискуссия о необходимости такого шага. Лилли и Эгга с нами тоже не было. Были отец, мать, Фрэнк, и я, и Айова Боб.

– Фрэнни этого не поймет, – сказал отец. – А Лилли и Эгг слишком малы. Спрашивать их мнения нет смысла: они еще не научились рационально мыслить.

Фрэнку было наплевать на Грустца, но даже он, казалось, погрузился, услышав смертельный приговор.

– Я знаю, что от него плохо пахнет, – сказал Фрэнк, – но это же не смертельная болезнь.

– Для отеля смертельная, – сказал отец. – Пес постоянно переполнен газами.

– И он уже старый, – сказала мать.

– Когда вы будете старыми, – сказал я матери с отцом, – мы не будем вас усыплять.

– А как насчет меня? – спросил Айова Боб. – Полагаю, я следующий на очереди. Надо следить за своими газами, а то еще закончу в доме для престарелых!

– Тут уж ничем не поможешь, – сказал отец тренеру Бобу. – Только Фрэнни по-настоящему любит собаку. Она единственная, кто действительно расстроится, а мы просто должны сделать все, что в наших силах, чтобы это не было так тяжело для нее.

Отец, несомненно, считал, что преждевременное уведомление только усилит страдания: не спрашивая мнения Фрэнни, он не то чтобы струсил, он, конечно, знал, каким оно будет, но от Грустца надо было избавиться.

Мне было интересно, сколько мы проживем в отеле «Нью-Гэмпшир», прежде чем Фрэнни обнаружит отсутствие старой вонючки, прежде чем она начнет рыскать вокруг в поисках Грустца, когда отцу наконец придется выложить карты на стол.

– Ну, Фрэнни, – представлял я себе, как отец начнет разговор. – Ты знаешь, что Грустец моложе не становился и все меньше мог себя контролировать.

Проходя мимо мертвенно-белых ворот под черным небом, я передернулся, подумав о том, как Фрэнни это воспримет.

– Убийцы! – назовет она всех нас, и мы все будем выглядеть виноватыми.

– Фрэнни, Фрэнни, – скажет отец, но та поднимет огромную бучу.

Я пожалел постояльцев отеля «Нью-Гэмпшир», которые будут разбужены тем разнообразием звуков, которое может создать Фрэнни.

Затем я понял, что не так с воротами: на них не было сетки. «Конец сезона?» – подумал я. Но нет, ведь осталась еще неделя футбола (и европейского футбола тоже). И я припомнил, что все эти годы сетки оставались на воротах до первого снега, как будто лишь первая пурга напоминала обслуживающей команде о том, что они забыли. На сетках в воротах лежал снег, как на плотной паутине оседает пыль.

– С ворот пропала сетка, – сказал я Фрэнни.

– Велика важность, – ответила она, и мы повернули к лесу.

Даже в темноте мы с Фрэнни могли найти ту тропинку, которой футболисты всегда срезают путь, а остальные из-за них держатся от нее подальше.

«Хеллоуинская выходка? – подумал я. – Стащить сетку с ворот...» – и тут, конечно, мы с Фрэнни как раз на нее и наткнулись. Внезапно сетка оказалась вокруг нас и под нами, и вдобавок в сетке были еще двое – новичок из Дейри по имени Файерстоун, с лицом круглым, как шина, и мягким, как сыр, и маленький ряженный из города. На ряженном был костюм гориллы, но по размерам он больше напоминал паукообразную обезьянку. Его маска гориллы сбилась на затылок, так что сзади ты видел обезьяну, а спереди – до смерти перепуганного, отчаянно голосящего мальчика.

Это была ловушка, как в джунглях, и обезьянки бешено в ней трепыхались. Файерстоун пытался лечь, но сетка все время не давала ему этого сделать. Он столкнулся со мной и сказал:

– Извините.

Потом он столкнулся с Фрэнни и сказал:

– Извините, ради бога.

Каждый раз, как только я пытался встать на ноги, сетка колыхалась и не давала мне этого сделать, и я снова падал. Фрэнни, стоя на четвереньках, пыталась сохранить равновесие. В сети вместе с нами был большой коричневый бумажный пакет, который изрыгал хеллоуинские гостинцы, добытые мальчиком в костюме гориллы: сахарная воздушная кукуруза, липкие шарики прессованной кукурузы, леденцы в хрустящих целлофановых обертках – все это рассыпалось под нами в труху. Мальчик в костюме гориллы кричал, истерично захлебываясь, словно вот-вот задохнется, Фрэнни обняла его и попробовала успокоить.

– Все нормально, – сказала она ему. – Это просто чья-то грязная выходка. Нас выпустят.

– Гигантские пауки! – кричал мальчишка, хлопая себя по всем местам и выворачиваясь из рук Фрэнни.

– Нет-нет, – сказала Фрэнни. – Никакие не пауки. Это просто люди.

«Но я знаю, что это за люди, – подумал я, – и я бы предпочел пауков».

– Заберите всех четверых, – сказал знакомый по раздевалке голос. – Вытащите сейчас же всю эту сраную четверку!

– Попались малыш и трое большеньких, – сказал знакомый голос, но не вспомнить чей – то ли блокирующего бека, то ли одного из линейных игроков.

Нас окружили карманные фонари, похожие на слепящие глаза каких-то механических пауков.

– Ба, кого мы видим, – сказал командный голос; это был квотербек по имени Чиппер Доув.

– Попались хорошенькие маленькие ножки, – сказал Гарольд Своллоу.

– Попалась нежная кожа, – сказал Честер Пуласки.

– И улыбка у нее хорошенькая тоже, – сказал Ленни Метц.

– И самая лучшая задница во всей школе, – сказал Чиппер Доув.

Фрэнни стояла на коленях.

- У Говарда Така сердечный приступ! – сказал я. – Нам надо срочно вызвать «скорую»!
- Отпустите эту долбаную обезьяну, – сказал Чип Доув.

Сетка зашевелилась. Тонкая черная рука Гарольда Своллоу извлекла мальчишку в костюме гориллы из паучьей сети и выпустила его в ночь.

- Хеллоуин! – крикнул Гарольд, и маленькая горилла исчезла.

– Это ты, что ли, Файерстоун? – спросил Доув, и луч карманного фонаря осветил блондина по имени Файерстоун, который выглядел так, будто собирался уснуть на дне сетки: колени, как у зародыша, плотно поджаты к груди, глаза закрыты, руки зажимают рот.

- Салага Файерстоун, – сказал Ленни Метц. – А ты что тут делаешь?

- Сосет свой палец, – сказал Гарольд Своллоу.

– Отпустите его, – сказал квотербек, и Честер Пуласки на какой-то миг сверкнул в свете фонаря своими угрями.

Он вытащил Файерстоуна из сети. Послышался слабый звук удара, хлопок плоти о плоть, и мы услышали, как Файерстоун засеменил по тропинке.

- А теперь посмотрим, кто у нас остался, – сказал Чиппер Доув.

– У человека сердечный приступ, – сказала Фрэнни. – Мы в самом деле шли вызывать «скорую».

– Ну а теперь не идете, – сказал Доув. – Эй, мальчик, – сказал он мне, держа фонарь перед моим лицом. – Знаешь, что я хочу, чтоб ты для меня сделал?

- Нет, – сказал я, и кто-то пнул меня через сетку.

– Чего я хочу, – сказал Чиппер Доув, – так это чтобы ты остался вот здесь, в нашей гигантской паутине, пока кто-нибудь из пауков не разрешит тебе уйти. Понятно?

- Нет, – сказал я, и кто-то снова пнул меня, на этот раз уже сильнее.

- Будь умницей, – сказала мне Фрэнни.

- Вот именно, – сказал Ленни Метц. – Будь умницей.

– А ты знаешь, что я хочу, чтобы сделала ты, Фрэнни? – сказал Чиппер Доув, но Фрэнни ничего не ответила. – Я хочу, чтобы ты снова показала мне то место, – сказал он, – то место, где мы можем побыть одни. Помнишь?

Я попробовал подобраться поближе к Фрэнни, но кто-то натянул сетку.

- Она останется со мной! – заголосил я. – Фрэнни останется со мной!

Я упал на четвереньки, и кто-то уперся мне в спину коленями.

- Оставьте его, – сказала Фрэнни. – Я покажу место.

– Просто оставайся здесь и не двигайся, Фрэнни, – сказал я, но она уже позволила Ленни Метцу вытащить себя из сети. – Вспомни, что ты сама говорила, Фрэнни! – крикнул я ей. – Помнишь... про первый раз?

- Может, это и не так, – грустно сказала она. – Это, может быть, ничего и не значит.

Затем я услышал звуки возни, она, должно быть, попыталась убежать, и Ленни Метц воскликнул:

- Уф! Мать твою, ну и сука!

И опять послышался знакомый звук удара, хлопок плоти о плоть, и я услышал, как Фрэнни сказала:

- Хорошо! Хорошо! Сволочь!

– Ленни и Честер пойдут с нами, чтобы *помочь* тебе показать мне то место, Фрэнни, – сказал Чиппер Доув. – Договорились?

– Да обосрись, ты, – сказала Фрэнни. – Крысиная жопа, – сказала она, а я опять услышал хлопок плоти о плоть, и Фрэнни сказала: – Ладно! Ладно!

На моей спине сидел Гарольд Своллоу. Если бы меня всего не опутывала сеть, я бы мог потягаться с ним, но я был скован в движениях.

- Мы вернемся за тобой, Гарольд, – сказал Чиппер Доув.

– Подожди здесь, – сказал Честер Пуласки.

– Твоя очередь от тебя не уйдет, Гарольд, – сказал Ленни Метц, и они все рассмеялись.

– Мне не нужна очередь, – сказал Гарольд Своллоу. – Мне неприятности ни к чему, – сказал он.

Но они уже ушли, Фрэнни время от времени ругалась, но все дальше и дальше от меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.